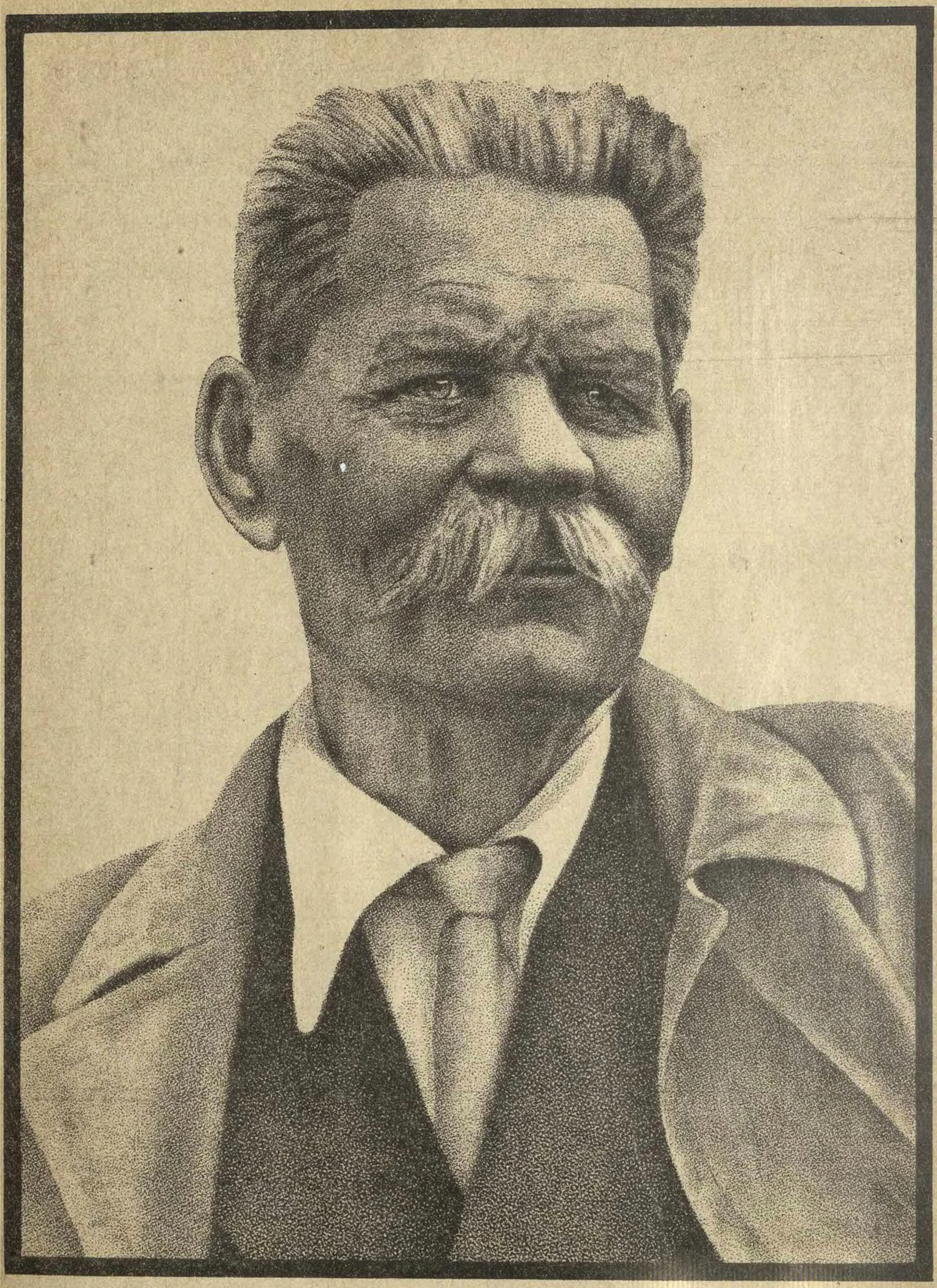
База
Курносых

В ГОСТЯХ У ГОРЬКОГО



А. М. ГОРЬКИЙ
(1868—1936)

087.1
Б-17

БАЗА КУРНОСЫХ

В ГОСТЯХ У ГОРЬКОГО

175062.

КНИГОХРАНИЛИЩЕ
ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ
г. СВЕРДЛОВСК

ОГИЗ
ВОСТОЧНОСИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИРКУТСК—1936

087.1 : 891.71 : 92

0

Авторы книги —

пионерский творческий коллектив

„База курносых“

Женя Безуглова, Рафа Буйглишвилли, Тома Гуркина, Соня Животовская, Гриня Ляуфман, Ара Манжелес, Ада Розенберг, Шура Ростовщикова, Аня Хороших, Аба и Баир Шаракшанэ. Вожатый Галя Кожевина. Руководитель—Ив. Молчанов-Сибирский.

С берегов Ольховки в Москву

Радостная весть

Утро. Солнце оранжевым зрачком заглядывает в наш лагерь. А кругом высокие, зубчатые горы, покрытые буровато-зеленой тайгой. Время к обеду. Свободные часы у пионеров—часы в лесу...

Группками и поодиночке разбежались пионеры по лесу. Рассыпался говор и смех меж колючих сосен. Где-то песня, где-то азартно засвистали ребята—самодельные свистульки, только что изготовленные мастерами этого дела.

...Я иду одна по лесу. Все дальше и дальше иду по тропинке. Вся тропинка засыпана засохшими сосновыми иглами. Сбоков, сзади, впереди — всюду стала стеной тайга. Низ у тайги коричневый, а верх зеленый. Темносиняя зелень старых сосен смешалась со светлой зеленью молодых. Волнуется море леса. Кажется, тихо в лесу. Но это только кажется. Вот прислушайтесь. Слышите—подкрался ветер и зашумел: ш-ш-ш-ш. Метнулся в стороны, качнулись зеленые ветки, заглянуло солнце на полянку, где ярко рдеют рубиновые капли брусники. Ветер сшиб шишку с елки и умчался дальше.

Волнуется море леса. Если итти не вслушиваясь и не всматриваясь, то кажется он молчаливым и строгим. Но если ты умеешь видеть и слышать, то сбросит лес с себя строгость, откроет целый мир нового и станет понятным, простым. Весело, звонко кричат лесные птицы, изредка пролетает, жужжа,

пчелка, а на пчелке золотая майка в черную полоску. Сосны бросают мне на руки тонкие паутинки.

Тише... тише... Вон чуть ниже, на срубленной сосне, прижавшись к стволу, сидит бурундук. Торчат мягкие ушки и хвост, закинутый на выгнутую спинку. Глаза черненькие, пугливые, а мордочка похожа на беличью. Я стараюсь не шуметь, ступаю на носки и немного набок, чтобы совсем тихо было, подкрадываюсь ближе к зверьку, но он быстро перебегает на другую сторону ствола и скрывается среди зеленых веток.

А вот дерево ольха; с ее веток только что сейчас слетела маленькая птичка. Дрожат круглые листья ольхи, показывают серенькую подкладку.

Тропинка круто поворачивает вправо и уползает вверх. Вот муравьиная куча. Вся она дышит и двигается. Я вспоминаю наш лагерь: в рабочие часы он тоже похож на зеленобелый муравейник.

Но вот я поднимаюсь к полянке. Оказывается, я на вершине горы, а внизу по зеленому дну котловины извивается синяя речка Ольховка. Полукругом охватила она подножье горы, врезалась в берег и украсила его желтыми зубчиками песчаных отмелей. Убежала дальше, теряясь в зелени леса. Сейчас ярко светит солнце, но от ветерка блестит рябь на Ольховке. Словно гонит ветерок по воде миллионы серебряных звездочек. На том берегу реки серые трехоконные домики; за ними огороды с маленькими солнцами — подсолнухами. А потом холмы, точно шахматные доски, желтые с зеленым. Это там зреют золотые хлеба, растет сочная трава.

Если посмотреть дальше полей, то можно увидеть в легком тумане зубчатые горы. Небо сходится там с землей, и именно из-за той большой горы, в розовой заре, каждое утро выходит солнце. Мир кончается вон там, где горы сходятся с небом. Но я знаю—это только кажется. Я знаю —можно итти далеко, далеко в любую сторону, и мир будет расширяться, небо будет подниматься всё выше и выше. Я знаю—там, за горами, есть много, много городов и сел. Я смотрю, слушаю, думаю. А внизу, у речки, в зеленом треугольнике ли-

нейки, маком расцветает пионерский красный флаг. Полощется флаг по ветру, мелькают в лагере беленькие блузки дежурных. Там сад, где каждое лето набирается сил и дружбы крепкая наша смена.

Слушаю, как шумит тайга, и думаю как хорошо быть пионером, работать, учиться.

Но что это? Звуки горна? Вот они раздаются бодрее, радостнее. И вдруг сотнями веселых голосов, звонкими криками оживает лес. По тропинкам с гор, обгоняя пионеров, катится галька; зацвела просека белыми кофточками,—ведь не я одна гуляла в лесу.

А горн зовет скорей, скорей. Коричневые ноги, легкие, широкие прыжки.

Бежим. Вперегонки, по лесным дорожкам.

Хорошо! Горят щеки, ветер навстречу.

Но вот и лагерь.

А на линейке всему лагерю сказали, что те, кто писал „Базу курносых", поедут первого в Москву.

Значит, и я.

Весь лагерь радуется. Все флаги приветствуют нас. Нас посылают в Москву! Перед нами внезапно раздвинулись горы, выше поднялось небо. Пусть развертывается вся земля.

Иркутск—Москва

Звякнули дверцы стеклянного шкафа. Человек невысокого роста, с гладким круглым лицом, в белом халате и такой же белой круглой шапочке, торопливо засуетился между плитой и столом, на котором лежала чищеная картошка и нарезанная морковь.

— Первый раз в жизни вижу таких. Ну, чего им нетерпится? Пришли рано, знают, что обед не готов. Откуда они, не знаешь?—обратился он к своему помощнику.

— В Иркутске сели, экскурсия какая-то.

За окном тихо плывут березы, сосны, осины; яркое осеннее солнце сверкает в бисеринках дождя, катящихся по желтеющим листьям.

В вагоне-столовой сидят пятнадцать ребят и каждый в косынке. Ребята в косынках— это мы. Едем в Москву. Сейчас пришли обедать—оказалось, обед не готов. И вот от четверостиший, которые мы выкрикиваем, вздрагивают стекла и мечется по кухне повар.

Едем пятый километр,
А обеда нет как нет.

Повару не везет: от толчка на кухне падает посуда, а тут еще мы мстим за долгое ожидание:

А на кухне дело худо:
Начинают бить посуду.

Вагон качнулся, из дверей кухни показались две руки, несущие поднос, а на подносе—тарелки с дымящимся супом.

Сразу же улеглось волненье, все внимание сосредоточилось на том, как бы при толчке ложка не попала мимо рта.

После обеда Шура выразила общую мысль:

— А не плохо бы малины или брусники, в крайнем случае.

Черноглазый Рафка и тоненькая Соня горячо поддержали ее.

— Давайте, дадим дежурным командировку на следующую станцию!

— Ребята, слышите?

— Ягоды, ягоды, даешь ягоды!

— Решено единогласно, — заявила девочка с веснушками и пальцами в краске, Ара—председатель.

— Миша, ты отправляешься с корзиной за ягодами.

— Чуф-фы, чуф-фы... ш-ш-ш-ш...

Подкатил поезд к станции.

Миша с большой корзиной соскочил с подножки и побежал к базару, сопровождаемый веселыми возгласами, несущимися из открытых окон.

* *
*

Уже четыре белых столба, с прямоугольными железками и цифрами на них, проскочили мимо, с тех пор, как все ягоды из большой корзины переселились в желудки.

Вагон подозрительно скрипел и дергался, совсем не так, как обычно пристукивало колесо.

— Что-то мне не нравятся такие толчки, как бы вагон не заболел, — стала беспокоиться Женя.

— Джек—доктор, а беспокоится, — засмеялись ребята. — Ты ему, как всякому больному, касторки дашь, и дальше поедем.

— Галя, я не всем больным касторку даю, бывает, что-нибудь и другое; ты думаешь, тебе давала, так и всем? А потом — вагону касторки не дашь.

— Ой, опять скрипит! Определенно в воздухе ремонтом пахнет.

И вот на одной станции, именуемой Боготол, славящейся медом и малиной, нас отцепили и стали гонять по путям.

. . . . . .

Наконец, привезли в депо.

. . . . . .

— Ребята, сюда, маленькое собрание, — повиснув на подножке, кричит наш вожатый Галя.

С большой поляны, перегоняя друг друга, бегут ребята. Впереди маленькая Алка, она что-то кричит и машет руками. Ее перегоняют два друга — Гриня и Рафка; Алла хотела схватить Рафку, но рука скользнула мимо, и Алла отстала.

. . . . . .

— Галя, о чем будем говорить?

— Я сегодня на „мертвом часу“ спала. Это Персик Аду за ногу привязал, — говорит Аня.

— Да нет, не об этом...

— Я хочу вот что сказать...

— Ну, тогда я знаю, — перебивает Соня. — О-о-о, — таинственно тянет она.

— Нет, нет, я знаю...

— Что ты, Тамара, знаешь?

— А вот—вышел приказ запретить Соньке есть огурцы и ягоды, а то...

— Придумала тоже!— обиделась Соня.

— Успокойся, Соня, об этом... Есть, ребята, предложение: выпустить в дороге стенгазету.

— Вот, правильно!

— Нужно выбрать редактора и придумать название.

— У кого какие предложения?— спросила Ара.

Последовал глубокомысленный вздох Сони, а затем предложение дяди Паши:

— Газету, по-моему, назвать „База курносых на колесах".

— Добавьте: на трех колесах.

— Почему?

— Одно сломалось.

— Это роли не играет: во-первых, колесо поправят, во-вторых, вагон не на четырех колесах, а немного побольше— на восьми.

— Редактором, по-моему, будет доктор Джек.

— Кто против? Никто?

— Сейчас, Женя, пойдешь с Мишей покупать бумагу и краски и вообще все, что нужно для газеты,— сказала Галя.

— А вы, ребята, садитесь заметки писать, только, чтобы на чистой бумаге и понятно было написано,— сказал новый редактор.

Вечером, когда все собрались, у каждого оказалась заметка.

Стали делиться дневными впечатлениями.

Персик рассказал:

— Мы с Васьком и Рафкой смотрели, как колесо поправляют... один дядя, тот, знаете, который на второй полке.

— Это сердитый-то?

— Да, ну, вот он и говорит: „Это ребята виноваты, что вагон сломался. Ни минуты не сидят спокойно". Я хотел сказать ему, что это, мол, неправда, мы не ломали, а рабочий, который предложил бригаде сверхурочно наш вагон отремонти-

ровать, посмотрел на него, на нас и сказал: „Эти не ломать, а строить будут". Вот, ребята, скорее бы вырасти, уж мы бы доказали, как строить надо!

— Ну, строители, спать пора,—посмотрела на часы Галя,— одиннадцатый час.

Ночью вагон прицепили к поезду, и мы покатили дальше. До Ишима ехали без приключений, если не считать, что Гриня на одной из станций запнулся за рельсу и разбил нос. А вот в Ишиме случилось главное,—ну, не главное, так почти главное.

Галя вошла в вокзал и купила газету. По дороге смотреть не стала. Пришла в вагон и, усевшись поудобнее, развернула „Известия". Прямо посредине газеты был нарисован Горький. Галя стала читать статью „Мальчики и девочки".

Вдруг Шура, которая сидела напротив Гали, потянула газету к себе.

— Шура, я читаю, не мешай.

— Галя, ты этот рисунок раньше нигде не видела?

В это время со второй полки свесилась голова с вихрами на макушке.

— Да ведь это „Дэшка и Ешка",

— Ребята, сюда, скорее! Горький про нас, и „Дэшка" с „Ешкой" нарисованы!

Обладатель вихрастой головы, Гриня, быстро скатился с полки и очутился рядом с Галей; так же быстро рядом с ним появился Рафка. Когда все были на месте и начали читать, над головами показалось две ноги, а затем ноги перебрались ниже, и стал виден обладатель их. Это был Васек. Он, оказывается, спал на верхней полке и проснулся от страшного переполоха.

— Я думал, опять колесо сломалось.

— Нет, Васек, смотри и слушай: Горький о нашей книжке пишет.

Догоняем по Байкалу

Есть у нас в „Базе курносых“ еще два пионера—Баир и Аба Шаракшанэ. В это лето они не поехали с нами в лагеря, а поплыли с родителями на Байкал. Знаете, озеро такое большое, его у нас еще морем называют. Ну, вот, когда мы узнали, что поедем в Москву, сразу послали им телеграмму: „Приплывайте скорей — едем Москву экскурсию база курносых“. Получили они телеграмму и начали нас догонять по Байкалу, отсюда и название главы такое: „Догоняем по Байкалу“. На самом берегу Байкала у подножья горы находится деревушка. По побережью ютятся маленькие деревянные домики, окруженные заборами. Если подняться в гору и обернуться назад, то вы увидите долину, изрезанную речками и еще три небольших деревушки. Долину эту образуют горы, которые расположены вокруг ее треугольником, а с четвертой стороны волнуется Байкал.

На берегу раскинулось село Большое Голоустное, а если поехать по тряской каменистой дороге, то можно попасть в деревню Харакуты, а по-бурятски в улус Ашхай. Утесы, повороты, овраги, лощины, шаткие мостики из срубленных деревьев, так идет дорога, которая приводит нас в улус Бусхай, где живут Аба и Баир Шаракшанэ.

Весело было на Байкале — рыбу ловили неводом, а иногда удочкой в речке. Купались даже. Холодно. Брр... ну, да ничего. Искупаемся, а потом на солнышке греться. А еще змейки делали и пускали. А тут подул ветер с запада, погода испортилась. То горный подует, то култук, то верховик. Байкал совсем разволновался. А сегодня ненадолго выглянуло солнышко. В деревне кто-то кричит:

— Елена Николаевна (эта мама Баира и Абы), телеграмма тебе из Иркутска.

Ребята наперебой:

— Дай я прочту.

— Нет я.

— Давайте все вместе прочтем,— примирительно сказала мама. Прочли. Запрыгали мы, а мама и говорит:

— Сегодня шестое, а ребята завтра уедут. Не успеть вам.

— Мама, может успеем?—просили ребята. И мама согласилась.

Даже менее подвижной Аба и тот усиленно занялся подготовкой. Весь улус обошли ребята, всех расспросили не поплывет ли кто в Лиственничное или на ст. Байкал. А там уже немного—семьдесят километров на поезде. Всех спрашивали, но никто не хотел ехать. Да и кто поедет, если снова будет буря, а бури на Байкале страшные и злые. Кое-как разыскали маленькую лодку в одни греби. Провожал наших путешественников дождь. Промочил он их насквозь. И когда приплыли в Голоустное, то там принялись отговаривать их— бабки, дедки и тетки и дядья. Но ребята так упрашивали ехать: „ну, может успеем", что мама согласилась, только сначала переждем до завтра.

Неспокойно спали ребята, а утром чуть свет поднялись и заторопились ехать, ехать скорей. Начинал дуть восточный ветер и в это утро ни один рыбак не выплыл в море, а наши друзья поплыли. Они так торопились, что брали с мыса на мыс. Это значит, что не около берега плыли, а проплывут мыс и берут направление на другой синеющий вдали мыс. А когда к Кадильному подплыли, тут уже страшновато стало. Небо нахмурилось и Байкал нахмурился. Заходили черные волны с белыми барашками. Волны сильные, гребцов-то двое, а греби-то одни, а плыть еще далеко. А тут еще ливень хлынул.

Вам наверно не приходилось попадать в такой ливень, когда в несколько минут промочит насквозь. Вот и сейчас струйки холодной воды побегут по разгоряченному телу.

Тут капитан лодки говорит:

— Приставайте к берегу. Дальше плыть нельзя.

Как возражать станешь, когда гроза началась, когда волны бушуют. Вытащили лодку на берег, пошли ребята хворост собирать для костра.

Все еще мысль цвела — может успеем, поэтому как только ливень перестал, отважные мореходы снова в путь.

Добирались до мыса Соболева — знакомых повстречали. Те удивляться начали:

— Как это вы одни в такую бурю на маленькой лодке проплыли.

А ребята думают, нашел чему удивляться, ведь мы в Москву торопимся. Никогда не забудут эту ночь ребята. Знакомые места казались какими-то чужими, давно известные расстояния удлинялись. Отбушевал верховик, не выпрыгивала из-за гор горная, было тихо, даже весла как-то бесшумно погружались в воду. Баир усиленно вычерпывал воду из лодки, которая дала течь. Устали гребцы наши. Надо приставать к берегу. Кажется, это Смородиновая падь. Зашуршал песок и лодка врезалась носом в берег. Тихо, темно и даже немного жутко. А вдруг медведь, но ребята быстро насобирали сухих веток и когда ярко запылал костер, то стало светлее, теплее и даже не страшно. Улеглись спать у костра. Вдруг раздался встревоженный голос Елены Николаевны:

— Кто там?..

Эти слова много раз повторило эхо.

— Это я, Баир. Мама, поедем скорей.

— Поплывем.

Поплыли...

А в это время поезд с курносыми отходил от станции Иркутск.

Не успели. Не догнали. Жаль.

Из дневника Ары

Маленькой я ходила в темных платьицах (в виду того, что грязь тоже темная) и мечтала о путешествиях.

Задняя часть нашего двора густо поросла высокой полынью и трубчатым морковником, который интересно цвел кружевными шапочками белых цветов. И полынь и морковник мне до тошноты надоели; надоел также наш досчатый сарай и цветочки куриной слепоты перед домом. Я росла одна и сама по себе. Никто за мной не следил—что хочу, то и делаю. Маме было некогда: она работала и приходила вечером. Приносила с собой усталость и больничный запах. Мы с папой уже зажигали лампу.

Под забором медленно остывали и дышали крепким ароматом травы. Я выходила вечером на крылечко. Подтягивала колени к подбородку, охватывала их руками и, съежившись в неприметный комочек, думала о своем.

Мне так хочется путешествовать!

А если Рипка воображает и всячески меня дразнит—пусть! Не буду с ней играть!

В один жаркий день (куча песку около ворот до того накалилась, что, казалось, расплавится и потечет ручейком за ворота) в саду стоял распаренный, вялый запах огуречной травы и горькой полыни.

Я морщила лицо от солнца и потела: было очень жарко.

В такой день осуществилась моя мечта. Папа пришел со службы немного разомлевший, но веселый, бритый, в белой фуражке, схватил меня на руки. Я, чтобы увеличить удовольствие, звонко закричала.

Папа весело захохотал.

— Едем... едем, Аруська, путешествовать... Едем на Украину!

От первой радости я вынесла впечатление, похожее на горстку разноцветных стеклышек. Всяких—розовеньких, зеленых, красных, голубых, звонких...

Говорят, что совсем маленькие дети видят все наоборот. Если мама стоит вниз ногами, то у них она будет стоять вниз головой. Вот и у меня тогда все как-то фантастически отпечаталось в голове... Вкус земляники у меня неразрывно связался со свистком кондуктора. Может быть, потому, что мы всегда торопились и боялись опоздать на поезд, когда ее покупали на станции.

А дома на московских улицах, красивые и высокие, куда-то клонились от меня назад, постепенно суживаясь к крыше. Я задирала на них голову, так что поля моей соломенной шляпки застревали между затылком и спиной, а сама она висела в воздухе. Я раскрывала рот от удивления, нежно прижимая разноцветный мяч к животу. Он был большой, новенький, в белой сетке и не умещался у меня на груди, отчего я прижимала его к животу.

Вот какой был мяч!

Мама меня дергала за локоть, а папа иронизировал насчет ворон, которые очень любят ротозеев и всегда норовят залететь им в рот.

Соломенная шляпка с полями грозила упасть. Пусть! Свеже-выкрашенный трамвай. Желтые сиденья. Пахнет краской. Летняя духота. Через пыльное окно вижу людей. Так я их видела, когда катила в трамвае по московским улицам.

Еще помню парусиновые навесы над витринами магазинов.

Много было горя и радости в детские годы, но самая большая радость пришла неожиданно.

С утра мы все пятнадцать волновались.

Когда пришел грузовик и мы погрузили вещи, вспомнили вдруг—батюшки, а туез с маслом?!

Побежали за туезом. В этот день очень много суетились, До самой последней минуты не верилось, что мы куда-то едем. „Вот когда поезд тронется, ну, тогда, значит, верно—едем в Москву".

И поезд тронулся.

После дождя выглянуло солнце, заблестели лужи. От потемневших деревянных крыш стал подниматься темный пар. Вокзал уплывал назад. Я высунула из окна голову. Свежий, влажный ветер откидывал со лба волосы. Вон из-за облаков—голубая полоска неба. В другом окне—голова Жени. Я вижу ее пушистые, каштановые волосы, а на них лежат капельки. Она тряхнет головой—и капельки разлетаются, вспыхивают на солнце зеленоватым или красноватым цветом.

Дорога была заполнена весельем и ожиданием то одного, то другого города.

— Ребята, скоро Красноярск.

Женя надевает плащ (ночь все-таки) и поспешно высовывается в окно. Я прижимаюсь к ней. Говорить мы не можем. Стоит открыть рот, как бешеный ветер набивается в него и душит, не давая дышать.

Впереди, там, куда несется поезд, в темноте маячит зеленый глазок фонаря. Он быстро растет, словно бежит к нам навстречу. Или его подхватило и несет сумасшедшим ветром?

Волосы стараются оторваться от головы. Я щурю глаза: их немного режет. Навстречу летит теперь уже много огней. Целый хор. Каждый кричит по-своему. Те, которые далеко, слабенько и маленьким голосом. Город перемигивается и расцветает ярким цветом.

Мелькнув, близко от лица пронесся зеленый фонарь. Мы испуганно оторвались от окна. Приехали. Исхлестанное ветром, лицо приятно отдыхает.

Дежурный страдающим взглядом проводил нас до выхода. „Ничего!"—киваем мы ему.—Мы быстро. А он пока жадно прилипает к окну, беспокойно оглядываясь на вещи.

Под окном толкутся, шумят люди.

Я на минуту повисла на ступеньках вагона. Сзади торопят. Да подождите вы! Охота окинуть все одним взглядом. Даже позабыла взглянуть на небо. А я на нем знаю два созвездия: это—Большую Медведицу и Ковш (может быть, кастрюлю?). Когда смотришь на этот „ковш“ или „кастрюлю“, вспоминается сладкая манная каша, жиденькая, как молоко (есть ее нужно с маслом).

Маленькой я думала (когда еще во 2-м классе училась), что именно в ней содержится „манна небесная“, а когда папа говорил, что это нелепость, я обижалась и удивлялась, почему нельзя сказать „лепость“.

Засыпали после таких ярких впечатлений, а пред глазами огни, огни... Черненькие человечки копошатся и кричат, разевая рты. Я даже как будто бы слышу слова.

„Нет,—думаю сквозь сон—это я сама“.

Просыпается ленивое любопытство. Что же кричат человечки?

Рафкины впечатления

Дни дороги прошли очень быстро. Хоть и много этих дней было, а все разные. Каждый день чем-нибудь особым отличался от предыдущего. Вот вчера мы с Гринькой узнали тайну столбов. Да тут ничего особенного-то нет. Просто как по телеграфным столбам расстояние определять. Посмотришь на столб: ага—четырехсотый, и говоришь с важным видом—до станции двадцать километров осталось. Ребята с расспросами: как, да как, а ты и говоришь: „тайна столбов“—потом, конечно, всем рассказали. Или еще такое было, когда вагон отцепили. Сначала мы загрустили, а потом занялись выпуском газеты. Ну, да об этом другие написали.

Вы ездили когда-нибудь в Москву? Ездили? Ну, вот и хорошо, значит. Вы знаете, какое чувство охватывает всех пассажиров, когда за два часа до прихода поезда начинаются

сборы. Некоторые еще и раньше успевают собраться. Но я-то говорю не о сборах, а о волнении. Больше всех, конечно, волновались мы, курносые. Да и как не волноваться. Вы ведь хотите встречать самых родных, самых близких людей. А ведь в родной Москве живут самые любимые люди—Сталин и Горький. И много писателей, которых знаем по книжкам и по портретам.

Мы с Гринькой, конечно, у окна стоим. Вдруг что-то как засвистит, зашумит и... промчалось мимо. Мы аж задохнулись и едва выговорили:

— Электропоезд!..

— О! Вот это да.

— А быстро-то как, Гринька!

— Да ты посмотри.

Ребята, занятые сборами, тоже начали говорить, что электропоезда несутся, с шумом и свитом разрезая воздух, но как они могли это услышать, если в вагоне такой громкий, беспокойный говор собирающихся.

Кругом лес. Хороший, красивый лес. Опять лес. Но где же Москва? Где—не терпится ребятам.

Они с жадностью вглядываются в каждую группу домов и с разочарованием узнают, что это дачи. Ох, как много дач?

Все вещи уже давным-давно собраны, но все мы становимся очень хозяйственными и в сотый раз трогаем ремешки и пряжки чемоданов и снова бросаемся всей гурьбой к окнам и снова узнаем: опять не Москва.

Но ждать в бездействии не можем, и вот в нашем быстром вагоне рождается песня. Она раздается все громче и громче. Нашей песне помогает быстрый ход поезда и сама Москва, которая вот-вот выйдет из-за плотной чудесной стены—леса. К нашей песне композиторы еще не успели музыку написать, а слова ее такие:

И быстро песнь по ветру мчится.
Звеня, вперед летят слова.
Привет, рабочая столица,
Родная Красная Москва.

Училище ... библиотека

Рельсы начинают раздваиваться. Вот их уже совсем стало много. Рельсы разбежались далеко по обе стороны поезда. Скоро вокзал, поезд убавил ход. Вздрогнул состав каждым своим суставом, зашипел тормоз Вестингауза и поезд легко (ну, не в полном смысле этого слова) остановился.

Здравствуй, Москва!

Мы выходим на пустой перрон. Ну, не совсем пустой. Но ведь нас никто не встретил.

Впереди всех пыхтит самая курносая краснощекая Алла, нагруженная двумя чемоданами. Еще подходя к тамбуру, она очень обеспокоена тем, как выйти из вагона, как спуститься. Но платформа подходит к самой верхней ступеньке. Вытащив вещи, ребята смешались с лавиной пассажиров. Стук колес. Звонки. Крики. Свистки. Гудки. Отрывки разговоров и веселая песня ребят. Все смешалось.

Подошли к камере хранения и тут какой-то жирафоподобного вида с лысой головой и с оттопыренными ушами, которые, казалось, могут оторваться, желчно говорит:

— Вот еще, буду я задерживаться из-за каких-то молокососов...

Защищаться нам не пришлось, так как все обрушились на жирафоподобного.

Вещи сданы. Руки свободны. Глаза засверкали, когда мы увидели цветы и пальмы. Живые и настоящие, да как много. Вошли в зал вокзала. Как чисто, красиво и уютно. Расположились ожидать, а потом поехали на трамвае. Первый раз поехали.

Хотелось смеяться, петь и прыгать от радости. Много смеялись и пели, а вот прыгать не пришлось, не хорошо, говорят. Ну и ладно.

Самая короткая глава

15 августа в 3 часа 15 минут дня дежурные и прогуливающиеся по перрону Северного вокзала видели, как из подошедшего поезда вышла группа загорелых пионеров с вожатой.

Пионеры, неловко подталкивая друг друга большими чемоданами, зашли в камеру хранения багажа, оставили там 15 чемоданов и стопку одинаковых книжек с яркими корешками. Затем они одернули друг у друга платья и рубашки, причесались перед зеркальным окном вокзала и с глазами, полными счастья и ожидания, вышли через вестибюль из здания и увидели... Москву.

Зуб ноет

Когда мы приехали в Москву, у меня болел зуб, ныл и дергал. Я говорила неестественным голосом и шараборила легонько языком свою боль. Ребята мне сочувствовали и пели: „Идет страна походкою машинной".

Я ныла и спрашивала:

— Иод в Москве есть?

А сама про себя думала: „Хорошо бы зубная боль была дефицитным товаром".

Шура и Женя сострадательно смотрели на меня. Во всем моем сердце была тоска. „Знаю уж, что вы хотите сказать".

— Да,—вздыхали Шура и Женя,—тебе сладкого теперь определенно нельзя есть.

— Пф...—презрительно надувала я здоровую щеку, а больную придерживала ладонью.—Сладкое вообще для здоровья вредно. Я вам его, ребята, не советую слишком много есть... знаете: один ел, ел, и у него сахарная болезнь случилась... Впрочем,—добавляла я,—как вы думаете: скоро у меня зуб пройдет?

А зуб не проходил.

Нас по московским улицам качал трамвай. Я держалась за поручни. Рядом со мной, как маятник, качалась Соня.

— Соничка, Соня, куда ты смотришь?

Сонькин ответ:

— На дома.

Я тоже смотрю на дома. В окнах плывет Москва, плывут ее магазины. Над витринами магазинов парусиновые навесы, на парусиновых навесах по краям зубчики. Огромные вывески: „Универмаг", „Гастроном". В витринах разложены любопытные вещи. Что-то крутится, и перед зрителями поворачиваются галстуки в заманчивой расцветке... А вон целое обилие груш, яблоков, висят тяжеловесные гроздья винограда на солнце. Должно быть, это фруктовый киоск. Там продавец в белом халате, он снисходительно на всех смотрит. Если бы мне не хотелось быть художником, я бы так же торговала, как он, и ела бы целый день виноград да шоколад.

Над московскими домами трудилось много архитекторов. У меня в памяти от красоты и величия Москвы осталось впечатление чего-то строгого и большого, выплывающего из синей дымки утра. Дома с барельефами, колонками, колоннами, с красивыми окнами, вверху закругленными, на крышах — с башенками и шпилями. Дома стройные, приветливые, своими крышами слушающие гудение аэропланов, а подъездами со стеклянными чистыми дверями—шум и биение города.

Видите вертится

К одной из серых площадок улицы подскочил трамвай и, отразив в красных боках белые колонны, суетливо вытолкнул из себя гурьбу ребят. Жадно глотнув новую охапку людей, он торопливо уполз вверх по улице.

С каплями пота на носах, в неожиданно смятых воротничках, до посадки в трамвай таких белых и милых, мы с надеждой в глазах пробираемся сквозь людские группы к белым колоннам.

Сейчас будет Центральный парк культуры и отдыха. Справа, за колоннами, мы видим парашютную вышку, знакомую всем

по многим кинокартинам. На самой левой колонне ребята читают четыре буквы: ЦПКО, и помельче: имени Горького.

— О!—кричит высокая, тоненькая Соня.—Парк имени Горького!

С лиц ребят спадает тень легкой усталости, и вдруг улыбнувшись, веселыми хозяевами они проходят между колонн.

— Сейчас будет парк, сад, будет тень,—думаю я,—отдохну. (Трудно ведь возить пятнадцать сибирят в трамвае!).

Мы всего второй день в Москве. Но вот мы выходим на желтую пустую площадку. Справа от себя видим портреты тт. Сталина и Молотова, высотой в несколько метров. Темные и мягкие тона. Наш художник—Ара, девочка немного широкоплечая, с носиком, осыпанным светлыми веснушками, и гладкими, совсем желтыми волосами, туго, затянутыми зеленым гребешком, встряхивает помятой юбкой и, чуть дрогнув ноздрями, точно почуя добычу, уходит к портрету. Деловито заключает:

— Краски темноваты.

Все пары тоже подходят ближе, и вдруг все враз, точно захлебнувшись, оборачиваются и кричат:

— Ой, да это из цветов!

Действительно, это стоящие вертикально клумбы-портреты. Брови—коричневые листья, губы—темно-красные цветы. А глаза и воротнички у тт. Сталина и Молотова из синих и белых цветов.

Медленно двигаемся вперед, не отрывая взгляда от портретов. Но вот конец площадке. В глаза бросается что-то голубое и почему-то вдруг чувствуется тишина. И вот мы уже явно видим...

Необъятным голубым зонтом поднято над раскинутым внизу полем, страной цветов, свежее утреннее небо. Вдали—стена леса. Поле—точно сказочный разноцветный торт разрезан желтыми ножами дорожек на части. Там, где пересекаются дорожки, играют в солнечных лучах резвые струи фонтанов. Утро осветило цветы, и их краски горят и трепещут вдали. Мы спускаемся по широким ступеням и ступаем на желтый песок дорожки. Вот мы идем уже среди цветов. Можем рас-

сматривать их, точно бархатные или шелковые лепестки. Смелые хороводы фонтанных брызг летают над нами. Мы поем — не враз, а по-двое и по-одному.

Ара обняла мечтательную темноголовую Шуру. Они подруги. Я вдыхаю влажный утренний воздух. Как хорошо!

И вот перед нами невиданно большие деревья, — значит, мы входим в лес. Внизу у деревьев ветвей нет, зато высоко вверху они сплетаются плотным потоком листвы, и здесь полумрак. Это дубы. Мы идем по парку, а тени падают на наши головы и спины.

В глубине чисто выметенного парка белеют беседки и статуи. А слева виден какой-то странно зеленый пруд. Стоя на его берегу, видишь, что он совсем круглый и, точно одна из ариных чашек, наполнен жидкой, зеленой краской. Пахнет стоячей водой. На той стороне пруда видна водная станция.

У меня вдруг что-то екает в сердце, и я живо говорю:

— Ну, пошли дальше.

Но самый маленький, шустрый, похожий на цыганенка, Рафа уже реагирует. Он внимательно смотрит на меня и что-то шепчет ребятам. Он азартно подпрыгивает и, заблестев глазами, сообщает новость:

— Галя, пруд! Можно на байдарках покататься!

Я на секунду теряюсь,—меня теребят. Когда пионеры стоят тихо и вопросительно, и даже с маленьким страхом ожидания смотрят на тебя,—это значит, что желание их гораздо больше, чем если бы они просто кричали все враз и требовали своего. Отказываться в таких случаях очень трудно.

Я с неприязнью смотрю на вязкую зелень воды. Я не знаю дна. А главное—на байдарке никто из ребят никогда не плавал. В уме возникает наихудшее: а вдруг кто-нибудь перевернется, и я буду далеко?

— Нет, нет и нет,—для большей убедительности говорю я.

Ребята тесным кольцом окружают меня и с хитрецой смотрят на меня. Шура же, медленно убирая со лба свою темную завитушку волос, пилит меня глубоким темным взглядом и тянет:

— Ну, Галя... пожалуйста...

— Никаких „пожалуйста“!—строго говорю я и нетерпеливо переступаю с ноги на ногу.

Я боюсь уступить. А когда так, то, конечно, начинаешь горячиться. Очень громко и внятно и напоминаю ребятам об уговоре беспрекословно слушаться меня во время прогулок по Москве и прочее, и прочее. Я говорю все громче и громче:

— Нет! Нет!

Не знаю, чем бы это кончилось, но вот за прудом, за деревьями медленно завертелось огромное колесо.

— Видите... вертится! — примирительно говорю я и указываю рукой туда. В люльках, подвешенных к спицам колеса, медленно взлетают над деревьями посаженные за решеточки малыши. Слышно, как они щебечут и восторженно визжат.

Ребята смотрят на колесо. Я быстро добавляю:

— Хотите, покатайтесь.

Ну, как же, как же не покататься! И вот мы, дружно обнявшись, широкой белой шеренгой проходим под аркой со светлой надписью „Детский парк“.

Мы и не подозреваем, сколько сюрпризов заготовила нам густая зелень за забытым на время зеленым прудом.

Девятнадцатое августа

Беломраморная лестница

Вот мы у Дома союзов.

— Тише!—Торопливо проверяют мандаты.

— Все?

— Все!

— Проходите.

Зашли. Передо мной рафкин затылок, я смотрю в него и боюсь потерять равнение. Ноги враз шаркают по ступенькам лестницы. Я поворачиваю голову. Глаза от удивления и восторга открываются шире. На миг останавливаюсь. Замечательная, широкая беломраморная лестница. Вся белая, как снег, только кое-где промелькнет маленькая голубая полоска, захватит другую и убежит, теряясь где-то в белом, сверкающем мраморе. А сколько людей видела эта лестница! Сколько лиц, веселых и смеющихся, отражало зеркало в громадной бархатной раме, на повороте лестницы. А сейчас вот это зеркало отражает белый, искрящийся мрамор с голубыми переливами и шеренгу белых маек и красных галстуков, а короче говоря—нас. Да, нас, пятнадцать, которые в первый раз не только в Доме союзов, но и в Москве. А лица у нас такие веселые, радостные, что и не скажешь. Ведь живем мы в замечательное время, ведь на съезд мы пришли к живым писателям.

Пионеры „Базы курносых" приветствуют Первый Всесоюзный съезд советских писателей

А мы вас прорабатывали

Фойе было залито светом, в огромные открытые окна врывался уличный шум и ветер, лучи света хотели затопить залы. От всех впечатлений как-то устали, хотелось сесть и отдохнуть. Мягкие креслы в чехлах манили к себе. На потолке висели люстры, поблескивая на солнце своими хрустальными призмочками. Над головой большой портрет седоволосой женщины; волосы на голове растрепаны; на медной дощечке, вделанной в раме, прочитали: Крупская. Мы стали рассматривать другие портреты.

Вдруг совсем близко, неподалеку от себя, я увидела знакомое лицо. Где я могла его видеть? Торопливо роюсь в памяти. А! помню, помню: портрет этого человека висит у меня над столом, где я всегда занимаюсь,—дома, в Сибири, рядом с маленьким Ильичом. Да ведь это Безыменский! Ну да, тот самый Безыменский, который написал нашу любимую котиковую шапку. Ну да, вот он здесь, живой, и как все. И вот этот человек, будто угадав мысли, повернулся и, подойдя к нам, сел на один стул с Гриней, улыбаясь, оглядел всех и спросил:

— Ну, как, молодые большевики, хорошо, а?

— Хорошо,—дружно ответили мы.

— А из какой школы, ребятишки?

— Мы из 6,—начала Женя.

Безыменский почесал затылок.

— Ну, а район?—Тогда Рафа, собрав всю свою смелость, выпалил:

— Мы не здешние, мы из Сибири.

Этот жизнерадостный, вечно смеющийся, задорный пионер хотел в одном слове вылить все, рассказать всю нашу историю.

— Мы „База курносых“,—помогла Аня.

— Читали?—смущенно спросил Гриня. Безыменский похлопал его по плечу. Шура осторожно толкнула Аду в бок и сказала:

— А он мне тезка... славный какой!

Александр Безыменский был немного полный, и морщинки покрывали его открытое лицо, но сам он дышал молодостью и задором.

Подошли еще писатели, знакомые и незнакомые.

— Значит, вы издалека, сибиряки... Ну что, здорово там холодно?—спросил человек с черной, маленькой треугольной бородкой. И мы в нем сразу же узнали Либединского.

— Мы ведь о вас в газетах читали,—продолжал он, усаживаясь на корточки около.

Мы скорее уступили ему место, и Рафка, усевшись у него на коленях, ласково, как котенок, греющийся на солнышке, гладил ворот его рубашки. Васек, откашливаясь сказал:

— А мы вас прорабатывали, вернее не вас, а вашу „Неделю".

Писатель насторожился.

— Ну, как, ребята, понятна она вам, а? Не трудно ее читать, понятно?

— Очень даже,—ответили мы дружным хором.

— А то я все боялся, все думал, что трудная она вам, ребятишки.

— Нет, она мне на испытаниях досталась, так я ее на отлично сдала,—сказала Тома.

Беседа завязывается, тесный круг взрослых окружил нас. Мы рассказывали, как Соня предложила писать книгу; как писали ее; как живем; какой у нас дядя Ваня и какая вожатая Галя; как ехали и совсем нечаянно в Ишиме по дороге прочитали отзыв Алексея Максимовича; как обрадовались и почему „База курносых" называется базой курносых.

В комнате за президиумом

Мы обе, Алла и Галя, живо поправили друг другу галстуки, а человек с двумя ромбами легонько протолкнул нас в дверь. Мы пошли за ним по просторной комнате с малиновыми занавесями у окон. Нас увели из фойе, от разгово-

ров с писателями. Предполагая заполнение анкет, мы были чуть обижены: „Вот ребята остались там, а мы...“

Человек быстро вел нас. Он весело нам улыбался, когда оглядывался, как будто давно знал. Его ромбы внушали нам уважение, и мы шепотком решили, что он, пожалуй, член рев-военсовета СССР и видел Ворошилова.

—Вот сюда!—сказал он и опять легко подтолкнул нас к полуоткрытой двери.

Я увидела край стола с тортами и почувствовала тревогу. По густоте голосов поняла, что там много людей.

Внезапно что-то точно подтолкнуло меня, взгляд упал на обращенное к нам спиной большое кресло. Перед креслом кто-то стоял, и в пустоте ползла голубая струйка дыма. Из-за спины кресла торчало полголовы со скошенными под бокс волосами. Этот бокс! Что-то было в нем давно знакомое. Странно.

— Вот они — курносые!—весело крикнул человек с ромбами.

В комнате задвигались, а из-за кресла показались большие прямоугольные плечи. Вставал какой-то человек. Что-то в нас натянулось доотказа. Пальцы наши ослабли и расцепились. Ой!.. Перед нами стоял огромный Максим Горький. Такой же, как на портрете, но только живой. Он засмеялся, сморщив нос, и протянул к нам руки.

Неужели это тот самый? Ну...

— Ах вы, черти полосатые!— говорил он нам.— Ах вы, чертенята!

И еще о чем-то говорил. И живо вертелся в кресле. Он то лукаво указывал нам на торт, то покашливал, смотрел на нас.

— Да, вот как вы живете теперь! А это ты, Алла?

Алла краснела и говорила:

— Да, я Алла.

Мы обе внимательно, но вместе с тем рассеянно, слушали его. Так, значит, это настоящий Горький?

Уважающая точность, Алла даже пробовала ущипнуть себя. —Вон он какой! Он совсем не такой, как я думала. А

он такой же, как на фотографиях. Только живой, шевелится. Глаза у него мягкие, цвета, как голубой галстук.

А больше мы ни о чем не думали.

К нам подходил секретарь ЦК Жданов. Он весело смеялся и, шутя, предлагал не раздавать книгу даром. К нам подходил Стецкий. С нами запросто разговаривали те люди, которых мы видели только на портретах.

Мы говорили с Алексеем Максимовичем (так здесь в Доме союзов звали его), говорили о многом: о Павлике Морозове и еще... Все было здесь так неожиданно, что мысли разбегались. Все было, точно сказка. Алексей Максимович, вставая и садясь в низкое кресло, весело доказывал малую курносость наших носов, а мы обе, сидя на кончиках стульев, смеялись. Потом мы, как во сне, ушли. И только, когда вышли в другую комнату все с теми же малиновыми занавесями у окон, Алла вдруг крепко, крепко обняла меня. Мы поняли, что все было—правда, что так может быть с любым. Мы прижались друг к другу щеками и молчали.

Потом Алла сказала:

— Галя, ты видела, какие у него глаза? Добрые, добрые,— и тихо добавила:—как у папы.

И заторопилась:

— А как я боялась раньше, что вдруг его увижу и не полюблю, как все его любят... Так боялась...

Я приветствую

В большом зале тихо. Сквозь тяжелые бархатные занавески глухо доносились слова. Там все внимательно слушали доклад Маршака о большой литературе для маленьких. И никто не знал, что здесь за портьерой сильно бились взволнованные сердца. Никто не знал и не мог знать, что жилки в руках тихонько вздрагивали и голова немного кружилась. Даже вот ребята, стоящие рядом со мной, не знали, что сердце на

мгновение останавливалось, а потом билось сильно, сильно, будто хотело выскочить и убежать куда-то. Я открываю рот и дышу. „Нельзя так волноваться", успокаиваю себя, „если здесь так боюсь, то на трибуне совсем умру". В последний раз торопливо читаю конспект приветствия, но он не читается. И вот с чего-то вдруг вспоминается мне мое первое выступление, когда я знамя лучшему из классов принимала, там в родной Иркутской школе. Я тогда тоже очень волновалась. Но тогда знамя принимала, а сейчас ничего не надо принимать. Хорошо. И успокоенная этим я открываю глаза и спокойнее читаю конспект.

Вдруг в зале все захлопали, значит, Маршак кончил. Все громче хлопает зал. Потом тихо и я слышу, что говорят в зале и в этом „что-то" я ловлю два близких слова — „База курносых".

— Галя,—поворачиваясь, говорю я,—наше слово!

Кто-то поправляет мне косынку. Рафка, заглядывая в лицо, взволнованно спрашивает:

— Боишься!—Галя делает последнее напутствие:

— Не забудь—на первом Всесоюзном съезде советских писателей говоришь, не бойся и не торопись, за всех докажи — и, рассмеявшись, треплет меня по плечу. Все это длится не больше пяти секунд. Бархатная занавеска приподнялась — белые майки имеют слово... и... мы в колонном зале.

Целое море электрического света заливает глаза, шум, гул оттого, что все, кто был в зале встали и, хлопая в ладоши, нас приветствовали. Этот глухой шум, этот свет, эта ласковая встреча,—наполнили меня чем-то другим — совсем не боязнью, нет. Чеканя ногу, мы подошли к проходу перед сценой и остановились прямой белой полоской. Все сели, стало тихо. Знакомый и незнакомый Янка Купала сказал:

— Слово от пионеров „Базы курносых" имеет Алла Каншина.

Сколько раз слышала я свое имя и фамилию, но сегодня они показались мне совсем другими. Надо итти, но как попасть на сцену, где лесенка? Рафка толкает:

— Иди.

—Алла, иди,—Галя сдвинула брови.

Что делать? и вдруг выдумываю,—прошу секретаря, извиняюсь, лезу на его стул, на стол и на сцену. Через секунду я на трибуне. Но как быть? Трибуна для больших, а мне зал из-за нее не видно. Мне приходится встать на барьерчик и подняться на цыпочки. Я не знаю почему, но все вдруг захлопали громко, громко, потом тихо, ти-ши-на. Сейчас начну, а вдруг голос сорвется, захрипит? Зачем я много мороженого ела, вот теперь вдруг сорвется.

Лица людей, сидящих в зале, мне не видно, я вижу только одну живую пеструю массу и эта масса меня немного волнует. Я оборачиваюсь к Алексею Максимовичу, он улыбается, его добрые глаза подбадривают меня. „Ай, была не была". Начала, голос зазвенел как никогда. И как не странно, ни страха, ни боязни, все как рукой сняло. Стало свободно, хорошо. Я забыла, что говорю здесь, думала в школе, говорю свободно как всегда, показала им книгу и говорю:

— „Ребята!"—сказала я, испугалась, какие же они ребята, даже частью седые. А они не обиделись, а захлопали все, а кто-то в президиуме „ура" закричал, а мне весело, весело стало.

— Старшие писатели будьте готовы!

Я кончила. Какая-то большая радостная волна покатилась по залу. Рукоплескания все громче, громче, растут, растут, лезут в уши и там все нарастают, гремят. И в этом грохоте рукоплесканий я чувствую большую любовь, заботу старших о нас, о своей смене, о детях пролетариата.

Мокрые майки

Я разыскала обломок зеркала. Московская пыль мне посадила на лоб прыщик, а наши белые майки сделала серыми. Я поворачивала обломок во все стороны и старалась этот прыщик отразить в наиболее выгодном свете—снизу,

сверху и сбоков. Зеркало отражало еще половину моего носа. Я могла успокоиться —московское солнце на количество моих веснушек не повлияло, их нисколько не убыло и не прибыло. Это были всецело сибирские веснушки и ни одной московской.

Мы отдыхали. Рафка ищет „Швабранию"—из-за нее у нас бой. Бой был жаркий. Мы, девочки, от ребят забаррикадировались в комнате. Сколько нас было—все гроздью повисли на дверях. С другой стороны „разорялись" ребята. Дверь, когда дергали ребята, открывалась и сейчас же захлопывалась.

Так продолжалось минут пять. Вдруг ребята стихли и куда-то исчезли, Мы переглянулись: что-то затеяли...

Аня металась по комнате.

— Куда бы спрятать, девочки? Под кровать? Под матрац? Под подушку?—спрашивали мы и продолжали пыжиться у дверей: вдруг да неприятель нагрянет!

Книга была спрятана оригинальным образом: Аня села на стул и расправила платье так, чтобы его складки свешивались по бокам со стула. Мы тоже расселись кто куда.

Нагрянул неприятель. С силой дернул дверь и чуть не упал. Дверь распахнулась. Перед нами стояли озадаченные ребята с палкой в руках, которой они хотели действовать наподобие рычага, когда в двери была небольшая щель.

Мы смеялись, когда ребята в пойсках за книгой лазили под кровати, сгоняли нас и ворошили подушки. Не трогали только Аню. Она сидела чуть ли не посередине комнаты на стуле, а под стулом ничего не было.

В самый разгар пришла Галя.

— К Горькому пойдем? Когда?

— В четыре.

— Галя, майки не успеют высохнуть.

Это, конечно, не важно, можно и полусырые надеть, но я не радуюсь. Зачем радоваться? Обязательно что-нибудь случиться, и мы к Горькому не попадем. Я оберегаю себя своим неверием от большого разочарования. Вот когда увижу своими глазами, что я у Горького, тогда сразу обрадуюсь так, что защемит от радости, а „Швабранию" пускай пока Рафка читает.

Натягиваем торопливо сырые майки.

— Чепуха, чепуха, Александра Александровна (у Шурки тапочка порвалась)... Горький не заметит, Шура, твою тапочку.

Эх, Шурка, дорогая моя, хорошая! У тебя темно-каштановые волосы, в лучах солнца теплые и пышные, и вьются они и не вьются—идут на затылок волнами.

Я оделась и наблюдаю, стоя у двери, за Шурой. Она полная, смуглая и лупоглазая. Фантазерка. Иногда бывает подвижная, как круглая ртутинка. Смешливая, и глаза у нее тогда просветляются в золотисто-карие. Шура, в сущности, по натуре такая же, как и я. Поэтому, может быть, мы с нею так и дружим. Из буйно-веселой она вдруг может превратиться в тихую, печальную, станет искать укромных уголков, будет ходить задумчивая и тихая и начнет сочинять стихи. Для Шуры прочесть книгу—это значит куда-то погрузиться и прожить чужую жизнь, а потом всполошенной вернуться в реальность. Шура вся мягкая. У нее не только руки мягкие но и взгляд живых глаз.

На этот раз я Москву не заметила, дома не разглядывала, в строю не пела. Шла углубленная — в себя, в свое ожидание.

Что я жду?

Ну, прийдем, поздороваемся... Горького я издалека уже видела... Говорить он, конечно, будет с Галей, как со старшей, с Женей, с Алкой (Алка бойкая), а меня он не заметит. А зачем, чтобы заметил?

— Незачем,—грустно решила я.

Я шла в гости к совсем незнакомому человеку.

—Ладно,—рассудила я,—встретимся—увидим.

В гостях у Горького

По небольшому, залитому асфальтом двору, в котором находились машины и открытые гаражи, мы прошли в сад. Это был даже не сад, а так что-то такое, с фонтаном и цветочными

клумбами. Мы шли с песней, а под ногами хрустел желтый песок опрятной дорожки. Дом был простой, двухэтажный. У него на солнце блестели зеркальные стекла, а на крыльце стоял Алексей Максимович и еще много других незнакомых людей. Мне стало не по себе. Я так стеснялась, что заранее предчувствовала свою глупую, отчаянную развязность.

Алексей Максимович улыбался нам, о чем-то спрашивал Рафку. Все заговорили, смешались и двинулись внутрь дома, двинулась и я, созерцая у самого своего носа чью-то спину.

Комната, несмотря на большое окно, показалась мне немного мрачной. Может быть, в этом играл известную роль черный полированный рояль, на скользкой зеркальной поверхности которого лежал игрушечный аэроплан. Через всю комнату тянулся стол, покрытый белой скатертью; на столе стояли вазы с яблоками, виноградом, грушами, блюда с ветчиной. На столе было много хороших закусок и конфет. А на другом конце кипел никелированный самовар. Между коробками с печеньем расположились маленькие тарелочки с лимонами.

Полный стол привел нас в приятное изумление. От этого изумления мы совсем застеснялись и нерешительно стояли у входа.

— Ну, ребята, рассаживайтесь, не стесняйтесь, — Алексей Максимович понял наше настроение.

Он усаживался сам, шутил и хорошо смотрел из-под приподнятых бровей.

Задвигались стулья. Мы, раскрасневшиеся и довольные началом, очутились за столом. Рядом со мной сидел детский писатель Ильин. От самовара потянулись чашки чая. Я долго билась над решением вопроса, что взять: бутерброд с сыром или с ветчиной...

Я выбрала бутерброд с ветчиной.

Мы почувствовали себя свободней: я отпиливала зубами кусок ветчины (в ней были какие-то неподатливые волокна) и думала: „Какое хорошее у него лицо, а ветчина эта — ядовитая штука — не откусывается".

Мое невозмутимое, хорошее настроение было нарушено Ильиным. Он прихлебнул чай и обратился ко мне с вопросом.

Требовался ответ. У меня даже испарина на лбу выступила. Чтобы ответить, надо было вынуть изо рта эту злосчастную ветчину с изжеванным и все-таки неоткушенным краем. Я с отчаянием состроила веселую мину, чуть приоткрыла рот и пробормотала:

— Знаете, я сейчас занята.

Ильин улыбнулся и согласился со мной:

— Сначала надо поесть.

С моей стороны это была большая неловкость, но я же не виновата... эта ветчина...

Алексей Максимович захотел послушать наши стихотворения. Звон ложек и говор утих. Встал Рафка. Он красивый у нас: черноволосый, смуглый, с густым румянцем на щеках, стройный и живой. Он сочинил стихотворение, в котором у него оказалась общая литературная звезда с Алексеем Максимовичем. Он этой звезды совсем не хотел, но так вышло. Смех Рафку разобидел. Он шлепнулся на стул, насупленный и огорченный. Стали успокаивать:

— Насчет звезды не так уж плохо, и стихотворение, Рафа, хорошее.

Прочли все по очереди и попросили:

— Алексей Максимович, расскажите что-нибудь.

— Что же вам рассказать? Я уж все в книгах рассказал.

(Между словом у нас делалось дело: груши потихоньку уничтожались, вазы пустели).

Мы слушали:

„Маленьким жил я на Волге. У нас там улицы шли в гору, и на них фонари. С горы бросишь камешек в фонарь, он — треньк и разбился... Вот мы этим делом и занимались".

Дальше Алексей Максимович рассказал нам, как его босоногого за шиворот поймал рабочий и объяснил, с каким трудом выделывается стекло, то стекло, которое они так легкомысленно из-за баловства бьют.

„С тех пор я перестал фонари бить".

Потом он хитро щурит глаза и сообщает:

— А хорошо быть писателем. Вон мне пионеры аэроплан подарили, а колхозные ребята мешок репы послали. — И довольно смеется.

Я сижу и удивляюсь: как он нас быстро завоевал и как он смотрит, словно знает и видит каждого насквозь.

— А кто из вас Ара Манжелес?

Ничего не понимаю!

Дальнейшие события закружились колесом у меня в голове и сделали там ералаш из моих мысленок.

— Как Алексей Максимович меня заметил?—Я недоверчиво смотрю на него.

Ему показывают:

— Вот она Ара Манжелес, сидит красная, как рак, и грушу уничтожает.

Потом меня извлекли из-за стола, и Надежда Алексеевна Пешкова пошла мне показывать свою студию. Мы прошли по комнатам и стали по лестнице подниматься вверх. На лестнице ковер. Я жадно ловила каждую мелочь. По стенам светлой студии висели гипсовые маски с полуоткрытыми губами, слепоглазые; висели рисунки, сделанные углем.

Надежда Алексеевна—художник. Она мне показала свой этюд. Посмотрела на меня и, наверное, подумала: „Ну, что она поймет?" Подумала и стала мне втолковывать:

— Эго—этюд... его пишут быстро...

Этюд, конечно, я понимаю и что его пишут быстро—тоже. С этюда и спрашивается, как с этюда—не выводить же в нем какую-нибудь отдельную деталь... Надо в общих чертах схватить и создать впечатление.

— У тебя есть к рисованию способности, тебе надо учиться,—говорит Надежда Алексеевна.

Я отрываю от этюда глаза. В комнате очень светло. Я чувствую, как мое тело торчит здесь посторонним предметом.

Надежда Алексеевна допытывается:

— У тебя краски есть? Бумага?

Я понимаю только одно: во мне приняли доброе, совсем не заслуженное мною участие, мне дают краски, бумагу, гипсовые слепки и говорят: „учись, работай, расти, срисовывай до тех пор, пока не срисуешь хорошо, а потом посмотрим и, может быть, возьмем тебя в академию".

Я, оглушенная, возвращаюсь к ребятам.

Уходили мы и наперебой старались дотронуться до руки Алексея Максимовича, погладить и унести частичку тепла на всю жизнь.

— Алексей Максимович,—сказала я жидким от волнения голосом,—разрешите вас поблагодарить... (Ах, не то я говорю).

— За что?—он поднял удивленно брови.

Стоит передо мной—большой... Мне захотелось броситься к нему и прижаться лицом туда, докуда оно достанет, прижаться к серому костюму. У меня сдавило в горле. Я всхлипнула и почему-то засунула себе в рот кончик галстука.

Он сказал:

— За что?—и заплакал.

Потом он махал нам с крыльца и кричал мне:

— Погоди, рыжуха!

Я сквозь всхлипывания улыбалась желтому, аккуратному песку под ногами.

У каждого из нас в руках были толстенькие книги в синеватой обложке: „В людях“. А на первой странице синим карандашом:

„Ане. М. Горький“.

И так каждому.

Мы уходили растроганные и взволнованные.

Пушкинский бульвар

Закат. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь тенистые ветки деревьев, расплавляют песок на аллеях оранжевыми, трепещущими бликами. Мы идем по бульвару, сгуппировавшись около дяди Вани. Никто из нас даже не подумал сесть на трамвай: нам хотелось итти, итти, вот так — в ногу и не говорить, только думать. Какой-то комок стоит у меня в горле. На глазах слезы, я стараюсь скрыть их и немного стыжусь себя. Смотрю на ребят и успокаиваюсь. У Гали глаза тоже как-то странно искрятся. Мы идем, тесно прижавшись друг

к другу, навстречу легкому вечернему ветру, доносящему запах цветов. Мы подставляем разгоряченное лицо его дыханию. Каждый прижимает к груди свою книгу с его надписью. До мельчайших подробностей врезался в память сегодняшний день. Как хорошо рассказывал Алексей Максимович о своей жизни! Мы сидели тихо, тихо, стараясь не проронить ни одного слова. И так просто и так хорошо было нам, как у себя дома, в Иркутске, среди своих ребят.

Мне вспоминается раскрасневшийся Рафка, едва видный из-за громадной вазы с фруктами. Он читает свое стихотворение: „Вам, дорогой товарищ Горький, я посвящаю этот стих"...

И когда Рафка говорил, Алексей Максимович, стараясь, чтоб никто не видел, как бы случайно, провел по глазам платком.

Вспоминаю себя за его креслом. Я последняя осталась, которой Алексей Максимович еще не надписал книги. Из большой стопки книг на столе осталась только одна. Я думала: а вдруг не мне? и мне нехватит, и он не подпишет? Я жду и внимательно смотрю через угол плеча на его руки. Вот он берет со стола книгу, отгибает корочку. Под его карандашом знакомое имя — „Аде". „Мне", — думаю я, и в груди что-то сжимается от счастье. А ниже надпись: М. Горький, тем почерком, который мне так знаком. Этим почерком на любимой серой книге, которая у меня дома в Иркутске, также написано: М. Горький. Он поворачивается немного и, улыбаясь, подает книгу. Я беру ее.

Даже сказать тогда ничего не могла.

И вот мы идем по бульвару, а я все прижимаю книгу к себе. Перед глазами — его улыбка и взгляд его добрых голубых глаз поверх очков и немного вбок.

Идем быстро, под ногами оранжевые блики. Алка шепчет:

— Это самый счастливый день в нашей жизни, — а на глазах у ней слезы.

— Ребята, у вас будет еще много радостных, веселых дней в жизни, — говорит дядя Ваня и, немного приподняв брови, на секунду закрывает глаза (это у него привычка такая).

Замечтавшись, мы совсем не заметили, что бульвар кончается, деревья редеют. Здесь все покрыто ровным, розовым

налетом заката. Я хотела что-то сказать, повернулась к ребятам. У них лица у всех розовые, и в глазах розовые искорки поблескивают. И только Тамара в тени. Я хочу посмотреть откуда тень, поворачиваюсь и издаю какой-то приглушенный писк и замираю: перед нами весь залитый последними лучами заката памятник Пушкину. Ветер как будто откинул назад волосы, распахнул полы накидки. В руках, сложенных за спиной, широкополая шляпа. Смотрит прямо. Одна нога немного занесена вперед. Просто и красиво.

Закат красноватыми отблесками покрывает его, отражаясь, играет в гранитных плитах пьедестала. Клумбы около памятника тоже все розовые, и цветы с розоватым налетом. Закат расплавляет стекла витрин магазинов, отражается в бегущих мимо трамваях, автомобилях. Иногда, вспыхивая красными солнцами, пролетает лимузин.

Долго стояли мы перед памятником. Закат постепенно бледнел. Длиннее делались тени домов, прогоняя розовые отблески. Последний луч скользнул по пьедесталу вверх по полам накидки, разбился, искрясь в кудрях, и исчез.

На бульваре зажглись первые фонари.

Соня-засоня

Слезка, соленая, соленая, без моего ведома ползет по щеке, стекает к носу и попадает в рот. Горько... горько и обидно. Я снова закрываюсь подушкой и плачу. Белая мягкая подушка, согретая моим дыханием, тепло и ласково окутала мою голову.

Назойливо стучит пульс, и сердце так жалобно—тук-тук.

„Ай, думаю, помолчи, не до тебя!“ И опять начинаю думать, а слезы все катятся на подушку.

Хватит, поплакала. Ведь все равно слезами горю не помочь. Вытираю мокрое лицо. Веки стали тяжелые, словно набухли от слез, и поднять их трудно. Села на кровать, огля-

делась. На стене, перед кроватью, портрет с беленькими каемочками. Я всегда, когда просыпалась раньше других (а это бывало часто, хоть и имя у меня Соня-засоня), смотрела на него и читала: А. М. Горький; смотрела на глаза, волосы, усы,—один еще чуть-чуть длиннее другого, а уголки губ приподняты в улыбке. Этот портрет радовал меня, я будила Аллу и, перебравшись к ней, мы начинали мечтать. Но сейчас, посмотрев на портрет, мне стало еще обиднее и тяжелее, чем было. Эх, и чорт меня взял опоздать, а они без меня и ушли к нему! Оглянулась — большая продолговатая комната и много кроватей в белом, как в больнице. А вон у Жени книга на подушке,— наверное, читала перед уходом. Э, да разве до чтения было!

Колбаса и сайки на столе не прикрыты, и по ним бегают мухи. „Торопились к нему, забыли“... Счастливые!

Встала, согнала мух, шумным роем полетели они к свету, в окно. Села, и опять из глаз закапало, как осенний, мелкий, противный дождь. Сквозь слезы посмотрела на Алексея Максимовича, встала тихонько на кровать и осторожно потрогала на портрете усы, погладила волосы, глаза. Холодная бумага ничем не ответила на мое приветствие. Глаза Горького по-прежнему смотрели ласково. „А они там живого трогают — и усы, наверное“... Голова стала тяжелой, я снова ложусь. Они, наверное, зашли к нему и прищурились от света и радости, а, может быть, там полумрак? Нет, нет, там люстры, как у нас в школьном зале! Народу, наверное, много. Безыменский там и Либединский — все. А прямо на стуле Горький сидит, с трубкой, и все улыбается, а здороваясь, наверное, с ребятами, обе руки им подал, как дядя Ваня нам. Они все ведь добрые, потому что плохие, злые люди не смогут хороших книг написать. В голову лезут одна за другой назойливые мысли; они, как мухи летом, не дают покоя. Лишь начнешь забываться, а они расшевелят своими воспоминаниями о ребятах, о Горьком, и спать сразу не хочется. Но когда много думаешь и плачешь, овладеть собой трудно, и я, забывшись, задремала.

Сквозь дремоту почувствовала, как что-то стукнуло, стало свежо, и ветер сбросил прядь волос мне на лицо; один волос

попал в нос, стало щикотно, и я проснулась. Из всех углов комнаты смотрела темнота, и лишь иногда пробежит свет — и опять станет темно, тихо. В черном небе блестели золотые цепи звезд. Поворачиваюсь на другой бок — ой, опять вижу глаза, вспоминаю все! Поднялась на ноги — все тело было вялым, непослушным, а кровь, казалось, сгустилась и вот-вот потопит сердце. Придерживаясь руками за кровать, подошла к окну и грудью легла на подоконник.

Миллионами огней смеялась Москва, полязгивая спешили трамваи и, казалось, говорили: так и надо, так и надо...

Ребята вернулись

Где-то хлопнула дверь, раздался говор, смех. Я насторожилась, „они пришли". Пошла быстро к постели. Из-под ноги серебьким комочком выкатилась мышь и, сверкая черными пуговками глаз, укатилась под кровать. Легла лицом в подушку, одним глазом наблюдая за окружающими. Первым в комнату вошел Гриня, в руках он держал большую коробку, в темноте поблескивали металлические углы. Луч трамвая, пробежавший по комнате, осветил Гриню. Я увидела немного влажные от счастья и радости зеленые глаза и улыбку.

— Соня, наверное, еще не пришла,— обратился он к входящим ребятам.

Загадочная коробка была поставлена на стол, и свет включен. Фиолетовыми чернилами разлилась за окном ночь. Я зажмурилась, потом подняла голову с подушки и села. Ребята мигом окружили меня, они садились рядом со мной, трогали, гладили меня, говорили что-то, но я ничего не понимала. Как в водовороте, кружилась голова. Поворачивая голову то налево, то направо, то прямо, я видела синие, карие, серые радостные глаза, блестевшие возбуждением и счастьем. Ребята говорили все сразу. Из их ртов то и дело вырывалось:

— Сонька, он такой хороший...

— Он такой добрый, веселый — Алексей Максимович...

У меня снова побежали слезы, но уже не слезы печали, а слезы радости. Мягкий голос Шуры был около уха слышнее всех. Она говорила:

— Сонька, ты не плачь, ты посмотри, что тебе Алексей Максимович послал.

Рафка с Вовкой одновременно бросились к столу и столкнули стакан,— он зазвенел, а ребята рассмеялись. Я понемногу начинала понимать в чем дело. На колени ко мне была водворена светло-коричневая картонная коробка.

— Да открой же!— нетерпеливо проговорила Женя.

Я осторожно приоткрыла коробку. Рафка было стал мне помогать, но ребята заволновались:

— Не трогай, пускай сама... отпусти...

Пестрая масса конфет, разноцветных пряников, яблоков, груш, вишен, винограда бросилась в глаза.

А в углу коробки лежала книжка, такая голубоватая и черные буквы: „В людях“. Горький.

— Соня, это тебе сам Алексей Максимович послал. Открой-ка, там надписано... Он нам всем такие подарил.

Я оглядываюсь — голубоватые книжки покоятся у всех около сердца, а Ада даже губами приложилась. Мне стало тепло и радостно.

— Ребята, какие вы счастливые, видели его, говорили с ним, а мне так хочется хоть пальчиком его потрогать! Ну, да расскажите мне все...

Упрашивать долго не пришлось. Заговорили сразу все и обо всем. Дядя Ваня подошел, погладил по голове и сочувственно сказал:

— Эх, Соня-засоня, проспала, да не горюй! Мы еще к нему пойдем.

Тут я уж совсем успокоилась, а ребята уселись кружком на кровать; кто-то погасил свет.

В темноте, говорят, образней получается. Мы тесно прижались друг к другу, и Шура рассказывала:

— Не забудь, как Алексей Максимович с нами здоровался.

— Знаешь, Соня, у него в руках очки были; он очки — в рот, нам обе руки отдал,— то и дело перебивают Шуру с дополнениями.

Вкусный „Мишка“ тает во рту. Я думаю о нем — хорошем, добром Алексее Максимовиче. Шурин голос заставляет задуматься, она говорит:

— Алексей Максимович сказал нам, что надо писать так, чтобы каждое слово пело и светилось.

Темнота сближает нас, я повторяю:

— Писать так, чтобы каждое слово пело и светилось...

Большой день

Из радиостудии Московского радиокомитета я приехала поздно. Ребята уже спали. Лампа под зеленым абажуром отбрасывала свои лучи на мою нетронутую постель и на Соню, которая спала со мной рядом. Сонины глаза были заплаканы и мокрые, по щеке ползла слезинка.

Бедная, она ведь не видела Алексея Максимовича!

Мне захотелось поговорить с ней, рассказать все, все...

— Соня, ты спишь? Сонька, знаешь, а Алексей Максимович книги нам всем подарил и тебе тоже, Соня.

Соня, всхлипывая во сне, перевернулась на другой бок. Я осторожно посмотрела на томик, который подарил мне сегодня Алексей Максимович. „Хорошо, положу под подушку — ближе лучше“. Осторожно сняла свою майку, повесила на головку кровати. „Какая ты, майка, счастливая: сколько видела сегодня!“ — и залезла под простыню. Хотелось спать, и в то же время было жалко, что такой счастливый день пройдет, пройдет 19 августа 1934 года!

Простыня холодила разгоряченное тело, щеки горели. Как много я сегодня видела! Вспомнила, как сказал дядя Ваня: „Алка именинница сегодня“. Правда, никогда у меня не было столько радостей, как сейчас. Я потянулась. „Нет, не буду

спать". Мысли одна за другой пробегали в мозгу, перегоняя друг друга, перевертывались. Вспомнила, как отворилась дверь, и навстречу встал Алексей Максимович, протянул руку, как погладил по голове, и я просила еще Галю пощипать меня: все думала — не во сне ли. Как нежно, по-отцовски встретил и как смеялся, что книги даром отдаем! Книга 10 рублей, вот это — да! А потом, как назвала их „ребята" — их, писателей. Как снимались вместе с Алексеем Максимовичем, и я все за пуговицу его пиджака держалась: Горький, мол, живой, неподдельный. А дальше—были у него в гостях, дома. Какие у него прекрасные конфеты—Мишки! Какой Алексей Максимович замечательный, ласковый и родной! Рассказывал нам о своем детстве, о Нижнем, где родился и рос. А когда прощаться стали, то не выдержал и заплакал. Арку рыжей назвал и пошлепал всех по плечам. Хорошо! Как шли потом по бульвару, позолоченному заходящим солнцем, плакали, все плакали от радости и от счастья, все было переполнено; хотелось пережить скорей, все понять. Не хотелось ни говорить, ни ехать на трамвае. Шли долго, ничего не замечая, не чувствуя, кроме радости — большой, большой... Как пришли домой, огня не было, собрались все, все 15, вместе с дядей Ваней и сидели так в темноте, прижавшись друг к другу. Никто не говорил, все молчали, но жили все одной радостью, радостью переполнившей нас всех. Сидели все — одна семья, с одной думой о нем — о дорогом Горьком. Как потом приехал какой-то дядя и повез говорить по радио, в черном, лакированном, как большой жук, автомобиле. Говорить, а все слушать будут — и мама с папой (их тоже вызывали, чтобы они слушали). Вот услышат и поймут ли они мою радость? Поймут! Да, я чувствую, что они поймут и будут радоваться вместе со мной за тысячи километров.

Поймут и будут радоваться вместе, захотят обнять Алку, а я скажу: „А ну-ка, дотянитесь! И опять передо мной встает дорогой Алексей Максимович, будто снова треплет мою голову, снова ласкают его ухмыляющиеся глаза.

Слипаются веки, спать хочу. Усталость берет свое. Нос утыкается в подушку, руки бережно прижимают к груди драго-

ценный горьковский томик. Я засыпаю радостная: знаю, что такие радости еще будут в моей жизни.

А все же жаль этот день; как он быстро прошел — это 19 число!

Милое Драгомилово

В Драгомиловке — в студенческом городке — тянутся белые коробочки домов. Такие дома могут красиво выглядеть из зелени растущих вокруг деревьев, а тут деревья низкорослые, подстриженные — сами выглядывали из-за зданий. Я почувствовала антипатию и к деревьям и к домам. Но внутри домов было уютно и светло. По широкой лестнице хотелось вбежать, не переводя дыхания, так, чтобы оказаться из пятнадцати первой. Пускай будет шумливый смех и топот 30 ног.

Каждый этаж имел площадку с лентой большого окна. Это было не окно, а целая стеклянная стена. Приблизившись вплотную к этому окну, чувствуешь себя легким, как муха, просвеченным и омытым потоком света. В таком обилии солнца можно захлебнуться розовой радостью сил и здоровья. Я люблю так много солнца.

Мы с Шурой крепко взялись за руки у стеклянной стены-окна.

— Как хорошо,— сказала она,— посмотри!

Отсюда видно далеко, как в дверь. Небо сегодня синее. Как перышки летят по воздуху, плывут облачка в нем. Вон идет девушка в белом платье. Она прыгает через лужу, и лужа весело отражает и солнце и девушку. Если хочешь о чем нибудь беспричинно-радостном рассказать другому, то расскажи

про эту девушку в ослепительно-белом платье на солнце, про эту лужу.

Зазвенело стекло. Это я распахнула окно.

Влажный ветер сразу же обвеял свежестью, облетел вокруг нас. Внизу возились звонкоголосые детишки.

Кто-то кричал:

— Петька!.. Петька!..

Голос растворялся в чистом воздухе. Мы поглядели друг на друга и радостно засмеялись. Мы смеялись, потому что от избытка счастливого ощущения жизни и звуков и красок нам хотелось парить над Москвой так же, как парит распущенная вата этих белых облачков.

В коридор выходило множество желтых дверей, похожих друг на друга, как сестры, а этажи были похожи, как братья. И дома были похожи. Тут все было одинаково, только моя кровать отличалась от прочих тем, что на ней из подушки лез пух. Я по утрам просыпалась с пухом в волосах, а по ночам чихала от него и видела во сне Алексея Максимовича Горького, с трубкой, а иногда без трубки. Еще видела длинный предлинный коридор, по бокам которого висят картины, а на потолке у него деревянными буквами было выведено: Третьяковская галлерея. Я будто бы обыкновенная, как наяву, только в синенькой юбке, которую мама мне сшила узкой. (Сон, видно, в этом и заключался, потому что ни за какие блага я бы это юбку наяву не надела). Иду я по коридору. Под ноги мне опрокинулось мое отражение и вышло, как на картах: вверху голова и туловище, внизу голова и туловище, посредине черта пола. Вот картина Сурикова. Но что во сне можно разглядеть?— Пятно какое-то! Я мучительно напрягаю зрение, морщу лоб — у меня на нем выступает пот.

Ведь я же не видела эту картину, но знаю, как Суриков работал над ней. Ему надо было написать юродивого. Позировал ему на базаре пьяница, с которого за водку, так прямо в снегу, с босого, художник делал этюд. А мысль написать эту картину у Сурикова возникла совсем случайно. Раз зимой на белой пелене снега он увидел черную ворону. Здесь у него зародился сюжет картины: написать на белом снегу в русских

санях-розвальнях боярыню Морозову, облаченную в черные одежды. Ее увозят в монастырь. Саням надо дать движение. Они тронулись с места. Суриков дал им небольшой крен набок. С левой стороны, со стороны злорадно-хохочущих врагов, бежит за санями мальчик. Он должно быть не в своем тулупе. Мальчик и большое пространство снега создают движение саней. Друзья расстроены. Вдали — купола и терема старой Москвы. И над врагами и над друзьями поднятая рука фанатичной староверки—боярыни Морозовой. Рука черная и длинная.

Но и Алексей Максимович и Третьяковская галлерея мне снились всегда отдельно.

Над землей и под землей в один день

Снаружи планетарий похож на огромную кастрюлю, приплюснутую гигантским колпаком или остроконечной татарской ермолкой. Мы вошли в зал.

Когда гаснет свет, то взгляд невольно падает на то место, где „ермолка“ соединяется с „кастрюлей“. Там, в этом месте соединения, по всему кругу в ночной мгле маленькими силуэтами вырисовывается Москва. А когда дают свет, то видно, что эти силуэты сделаны из черного бархата.

Лекцию начинают читать откуда-то справа. Фонарь, который все время стоял посредине тесного кольца скамеек, мгновенно загорается множеством глазков, и на том месте, где должен был находиться купол, появляется, как мы привыкли называть, небо. Маленькая электрическая стрелка то и дело появляется и показывает то, о чем говорит профессор. Вот планета Марс, вот Венера, Сатурн, вот Малая медведица, вот Большая, и все это указывает электрическая стрелка. На время лекция переносится на север. Небо мгновенно меняется, и перед нами северное небо. Профессор говорит о его особенностях, а неустанная стрелка все время мечется, подтверждая его слова.

Лекция кончается восходом солнца. Профессор объявляет: „Сейчас, товарищи, взойдет солнце, и мы разойдемся". Постепенно начинают редеть сумерки. Звезд как не бывало. Серый предутренний рассвет становится все светлее и светлее. Вот на востоке из-за Москвы, из-за церквей и домов появляется первый луч солнца, за ним второй, третий, много, много... Выходит краешек солнцевого диска, затем половина, а за ним и все солнце. Почти такое же, как и наше настоящее солнце, которое мы видим почти каждый день, ультрафиолетовые лучи которого дают нам загар в лагерях, к которому мы так привыкли и так хорошо его знаем.

Дали свет. Под впечатлением только что виденного мы вышли в коридор. Там, на стене, были сделаны из гипса фигуры ученых, которым за их научные работы пришлось, как мы знаем из истории, жестоко поплатиться. В те времена вся власть была сосредоточена в руках церкви и феодалов. Самым главным орудием эксплоатации была церковь. Церковь сделала так, что низшая часть населения слепо подчинялась своим господам и верила всему, что проповедовала церковь. Все новые научные открытия старались скрыть от народных масс, а людей, которым принадлежали открытия, называли еретиками, т. е. людьми, которые не верят в бога, не признают церкви. Вооружали против них массы, подвергали гонениям и жестокими пытками заставляли их отказаться от своей теории, а то сжигали на кострах или казнили. Так погибли лучшие люди: Галилей, Торичелли и другие. С большим впечатлением мы вышли из планетария, но не меньшее удовольствие нам доставило пребывание под Москвой, т. е. я хочу сказать—в метро.

Нам дали проводника. Проводник привел нас к маленькому сарайчику или, как называют в деревне (а это здесь очень кстати), к амбарушке, и попросил зайти. В „амбарушке" оказалась дыра, похожая на отверстие подполья, а в дыре почти совсем отвесная лестница. Мы стали спускаться. Узкая лестница привела нас к широкой бетонной лестнице, по которой мы спускались в туннель. Туннель была похожа на коридор; наверху горели лампочки, так что хотя и под Моск-

вой, а было светло. В туннели было сравнительно чисто, а посредине было сделано в цементе углубление или канавка, по которой стекала вода. Чисто будет в туннели или нет, этот вопрос до спуска в туннель у нас был самым больным, потому что мы были все в чистых белых майках, а девочки, еще к тому же, в белых тапочках. Но теперь мы убедились, что если не будешь мазаться о стены и не зайдешь в канавку, то выйдешь из туннели совершенно чистым.

Между тем, ребята попросили проводника рассказать, как строится метро. Проводник, он же и инженер, был среднего роста и молодой. По разговору можно было определить, что жизнь свою он провел среди рабочей среды. Он не заставил себя долго упрашивать и начал рассказывать:

— Ну, ребята, вы уже, наверное, знаете, как строится метро. Прежде всего мы выкапываем отверстие вроде колодца на глубину, на которой в этом месте пройдет дорога. В зависимости от почвы, в разных местах дорогу проводят на различной глубине. Как только достигнем нужной глубины, пол в этом месте заливаем бетоном, потом копаем в ширину и длину, когда ширина станет достаточной, боковые стенки тоже заливаем бетоном. Дальше, соблюдая ширину, копают в длину и через каждые 2—3 метра заливают бетоном. Так выкопана вся шахта. С другого конца участка таким же способом тоже копают шахту, и они в конце концов сходятся. Ширина коридора рассчитана так, чтобы могли пройти навстречу друг другу два поезда.

Он рассказывал, а мы шли дальше. Вот мы подошли к небольшому углублению, похожему на шкаф. Спросили, для чего это углубление.

— А для того, чтобы человек, проверяющий дорогу, при встрече с поездом, мог укрыться в этом углублении.

Идем дальше. Там рабочие высверливали в цементе дыры. Мы опять спросили:

— Что это делают?

— Это приостанавливают течь воды. Когда высверлят отверстия, в них будут стрелять из так называемой цементной пушки, после чего вода уже не просочится.

Он еще рассказал нам о толщине стенок, о высоте коридора.

Мы пошли обратно.

Почти у самого выхода лежали рельсы, чего мы раньше не заметили. Там уже замазывали пол, как бы начисто, цементом. Скоро закончится работа, и побегут первые поезда, которые разгрузят всегда переполненные московские трамваи.

Метро нам очень понравилось и хотелось сейчас же стать в ряды ударников бригад, которые через несколько месяцев сдадут московскому населению в эксплоатацию метрополитен. Знали, что настанет и наш черед, когда мы так же будем работать...

Я посмотрел в окно. Была луна. На небе мерцали звезды. Ребята все спали, их примеру решил последовать и я.

Необыкновенный музей, все можно руками трогать

Большая светлая зала, в которой мы находимся, больше похожа на простую комнату с книгами, чем на музей. По одну сторону тянутся полки, большие, длинные, и на них все книги. Вот книги для маленьких ребят. А вот книги для нашего возраста. Мы даже удивились, что есть так много книг для нас. Мы ведь никогда почти таких книг не читали, а забегаем все вперед и читаем книги для взрослых. Там, в Сибири, у нас совсем почти нет таких книг, а вот здесь, в музее, их много. И набросились мы на полки, как мухи на сахар. Каждый примолк и рассматривает. А в открытое окно доносилось мирное постукивание капелек дождя о стекла, и нам хотелось, чтобы было тихо, тихо; а улицы выглядели серые—прямо как у нас осенью. На улице сейчас неприятно щекочет дождик, и капельки просачиваются через воротник, а нам здесь очень тепло и хорошо. Познакомившись с кни-

гами, мы замечаем, что в другом конце залы с таким же удовольствием, как и мы, что-то рассматривает человек. Он удивленно смотрит на нас, на наши веселые, еще не высохшие от дождя лица. Он в брюках до колен, в длинных чулках и лакированных туфлях.

— Здравствуйте,—громко сказала Тамара.

Ребята, которые еще не успели оторваться от книг, удивленно подняли головы. Но, к сожалению, человек в брюках не понял нашего приветствия, так как он был француз.

Тихо открывая дверь, вошел пожилой человек, с лысиной на остриженой голове. Это директор музея. Мы быстро познакомились.

— Музей наш организовался в 1921 г. Тогда нам было очень трудно заниматься организацией музея, но мы все же его организовали. Мы ездим по городам и показываем ребятам, что нужно читать. Ребята и взрослые, которых также интересует наш музей, дают указания; я надеюсь, что и вы тоже дадите нам подробные указания по работе музея. Здесь вы видите настоящие книги, а вот там (он указал рукой на другую сторону залы) вы просмотрите макеты.

Тихий, медленный голос директора настойчиво лез в уши, а глаза наши беззастенчиво блуждали по большой зале, и немедленно хотелось увидеть все сразу: и макеты и книги. Вот большой стол, а на нем что-то не совсем понятное? Что это такое? Лежат какие-то маленькие костюмчики и куклы, а около каждого костюмчика—книга. С недоумением рассматриваем все.

— Это не только для маленьких, я уверен, что и вас заинтересует. Здесь лежат книги о какой-либо стране, а здесь национальные костюмы. Вот вы сейчас сами увидите, как интересно их надевать.

— Я буду индейца одевать,—быстро заявляет Рафа.

— А я буду эвенка,—раздается голос до этого молчавшего Грини.

— А сейчас, ребята, мы поедем в Китай. Хорошо?—сообщает директор.

— Хорошо,—радостно отвечаем мы.

И правда, прямо Китай да и только! Как зачарованные, смотрим мы на виды Китая. А на переднем плане стоит большая кукла в китайском костюме и с зонтиком. Книги на китайском языке лежат кругом, и когда смотришь туда, то получается полное впечатление о Китае: и жизнь ребят и жизнь рабочих.

Вот картина рисового поля. Целая семья бедного китайца, в широких шляпах, собирает рис. А какие тонкие зонтики из бумаги! Каждую вещичку рассматриваем подробно. Вот и кончили осмотр всего зала. В полной уверенности, что это все, мы начали собираться домой. Но не тут-то было! Нас попросили пройти в другую комнату. Гриня, например, уверяет, что последняя комната самая лучшая. Она не очень больших размеров, но светлая. Никаких тут книг мы не увидели, стоят какие-то машины—и все.

— Я знаю, это—типография,—авторитетно заявляет Алла.

Женщина в сером халате подтвердила аллину догадку и разрешила нам самим напечатать картинки. Возьмешь, сначала намажешь и положишь под пресс. А он так медленно надвинется, придавит и с помощью одного поворота руки уползает обратно. Каждый из нас напечатал себе по картинке.

Вот какой хороший музей есть, а мы раньше и не знали! А главное, как много книг, чтобы нам читать.

Музей этот совсем не похож на остальные, он какой-то особенный, а главное—все можно трогать руками.

Музей, как музей—ничего трогать нельзя

Сегодня мы идем в Музей изящных искусств. Туда надо приехать раньше, и потому мы быстро завтракаем и после недолгих сборов выходим на улицу. А день сегодня хороший, ясный. Трамвай не идет до самого Музея, и наша группа отправляется пешком.

Вот и Музей—величественное белое здание с высокими колоннами. Название Музея вызвало в воображении нечто красивое, изящное и необычное. Внешний вид вполне оправдывает это название. Входим в вестибюль и поражены—очень красиво. Никто до этого не видел ничего подобного. Прямо перед нами—мраморная лестница без перил между стенами, поднимающимися до высоты верхнего конца лестницы. Стены тоже из цветного мрамора. Желто-розовый мрамор с темными прожилками еще больше выделяет белые колонны, которые опираются на стены, ограничивающие лестницу. На высоте этих стен, по обе стороны лестницы, широкие пространства, как бы коридоры. Потолок—это громадное окно, из которого сверху льется целый поток свету. Это еще больше увеличивает впечатление высоты и обширности вестибюля. Работники Музея встретили нас очень приветливо и, пока мы раздевались, нам уже дали руководительницу.

Поднимаемся по лестнице вверх. Руководительница рассказывает, какая громадная разница в посещаемости Музея. Если тогда проходили через Музей в год сотни и тысячи людей, то теперь проходят десятки и сотни тысяч трудящихся со всех концов нашей страны.

Мы становимся немного гордыми: ведь наше посещение тоже попадет в это число посетителей.

— У нас сейчас в Музее выставка детских рисунков,— говорит руководительница, когда мы доходим до конца лестницы.—Если вы хотите, то можете ее осмотреть.

Мы готовы осматривать все, что нам ни предложат, и потому охотно соглашаемся и на это. Прямо от лестницы, пройдя десяток шагов, мы попадаем в залу, увешенную щитами с рисунками. Рисунков на выставке много, все очень интересные и хорошие. Кроме рисунков советских ребят, есть рисунки и детей зарубежных стран. При сравнении их не трудно заметить, что рисунки наших ребят имеют более разнообразную и глубокую тематику, но менее совершенны по технике и особенно по оформлению. Качество красок и бумага рисунков наших ребят ниже заграничного. Выставка эта

была в нескольких странах и имела большой успех. После осмотра выставки мы начали осматривать самый Музей. В громадных залах собраны лучшие образцы античного искусства. Проходим ряд зал. Везде перед нами прекрасные статуи: герои греческой мифологии, богини и боги, воплощенные в бронзу и мрамор. Одежды их ниспадают красивыми и изящными складками, придавая фигуре строгую величественность. Как интересна эта история давно прошедших времен! Становится жаль, что мы плохо знакомы с древней историей, вернее, знаем из нее несколько имен и все. Громадные фигуры богов и богинь говорят об обширности и красоте храмов, которые они некогда украшали. Это подтверждает громадный берельеф, вернее осколок барельефа, по которому можно судить, каких громадных размеров были храмы и их прекрасные украшения.

Руководительница говорит нам о том, что рабовладельческое государство, развиваясь, нуждалось в завоевании новых земель и охране своих границ. Идеалом гражданина провозглашался человек с гармонично развитым телом, который мог переносить походные трудности и прекрасно сражаться с врагом. Античные скульпторы создавали статуи, служившие образцами, к которым каждый должен стремиться. Олимпийские игры, своего рода спартакиады древних, также подтверждают, насколько высоко ценили тогда развитие тела. Победители игр часто служили оригиналами для статуй. Но ваятели, конечно, наделяли их идеальным совершенством, т. е. исключительно гармонично развитой мускулатурой и идеально красивым лицом. Мы особенно долго стояли около статуи Дискобола. Она поразила нас красотой форм и прекрасной передачей напряжения мускулов. Видно, как под кожей напряжены мышцы и, кажется — еще одна секунда, и диск, вращаясь, вылетит из его рук. Древние ваятели исключительно хорошо знали анатомию человеческого тела, и нашим современным мастерам есть чему у них поучиться. Возле громадных статуй мы, маленькие пионеры, кажемся еще меньше, но мы вырастем большие и постараемся, чтобы наши тела были так же прекрасно развиты.

Заканчиваем осмотр Музея в нижних залах, наполненных картинами. Времени осталось мало, и этот отдел Музея мы просматриваем быстро. Оглядываем последний раз обширный вестибюль и выходим.

На память о нашем посещении нам подарили пачку открыток. Мы их разделили между собой, и теперь открытки хранятся у меня, как воспоминание о посещении Музея изящных искусств.

Встреча с земляками—медвежатами

Вон я уже вижу ворота, а на них вывеску: зоопарк. На вывеске нарисованы неуклюжие медвежата. В зоопарке большое озеро, в нем плавают красивые птицы, черные и белые, с выгнутыми шеями. Это лебеди.

Мы быстро проходим дальше, дальше... Клетки с обезьянами.

— Вася... Вася,— говорит женщина в синей шапочке (она здесь работает),— иди сюда, Васенька... Обидели тебя.

Маленькая обезьянка щерит на других — нахальных и шумных — зубки и совсем детскими ручонками держит яблоко. На ручках ноготки и большой пальчик, как у человека. Женщина не может дозваться обезьянки: она занята защитой своего яблока, до того наливного, что красная кожица его блестит, как лакированная.

Сзади подкралась обезьянка покрупней. У нее выпуклые, чуть ли не во всю мордочку, глаза и черной окраски шерсть. Она ловко напала с тылу и выхватила яблоко. Вася завизжал и по-ребячьи заплакал.

— Вася, Васенька,— звала женщина.

Обезьянка бросилась к решетке и дрожащим тельцем прижалась через нее к женщине.

На трапециях, в других клетках качались некрасивые обезьяны. Вокруг лица у них росла длинная шерсть, — длиннее,

чем на всем остальном теле. Она походила на седые бакенбарды, которые сливаются с густой шапкой волос. Зад у этих обезьян был кроваво-красного цвета и походил на подушку.

Алла сказала, что это очень неприличные обезьяны и что мартышки — „куда симпатичней".

Зоопарк разбит на отделения. В самом дальнем краю находились слоны, по соседству с ними — гомонливый птичий дом, окна которого были тесно увешаны клетками с птичками таких изумительных окрасок, что невозможно и описать. И почти каждая пичужка пела на своем языке свою песенку. Это был поющий, щебечущий, чирикающий, свистящий дом. В клетках прыгали воздушные щеголи и франтихи.

Были тут попугаи — белые, с розовыми перьями, зеленые, с отливом, самых разнообразных цветов. Один попугай нагло присвоил себе мое имя. Он покачивался на жердочке и выкрикивал: „Ара, Ара".

— Ага,— сказала я обозленная,— тебя зовут Ара.

Алла восторженно захохотала, и все закричали:

— Тезки, тезки...

На табличке было написано: попугай Ара.

Я чуть не заплакала. Это даже оскорбительно. Потом меня зовут все-таки Ариадной а не Арой.

— У, противный,—сказала я, переходя к другой клетке.

Там в воде полоскалось семейство уток. Они чистились, ели и вообще жили по-птичьи. Вдруг — ну, это Алке сюрприз! Утка подняла голову и разразилась хохотом... Утка хохотунья!

Наши взоры обратились на Аллу. Опять вспыхнуло веселье и смех.

— Алка,— с трудом выдавливала из себя сквозь смех Ада и трясла косичками,— Алка, поразительное сходство!

Чем мы больше хохотали, тем угрюмей и темней становилось небо.

Вот слоны. Один побольше. У него ноги как столбы, кожа серая, в складках. Он качает головой и хоботом. Глаза маленькие и печальные.

Начал моросить дождь.

Маленькая девочка, в белой шапочке, теребила папу за рукав и неустанно спрашивала:

— Папа, папа, а зачем он землю трогает?

Я для этой девочки в уме подобрала стихи:

Слоник топал ножками.
Каждой ножке б по сапожке:
На дворе-то дождь, простуда,
Без сапожек ножкам худо.

Девочка с папой ушла. Стишок остался при мне.

Становилось уже грязно. Мы пошли мимо голубых антилоп (ну и антилопы — быки какие-то с дымчатой шерстью!). На камне, поджав ногу, стояла птица, похожая на аиста. Скорей всего это был журавль. Пока мы соображали, к какой разновидности голенастых отнести этого безмолвного часового, хлынул настоящий дождь. Мы завизжали и бросились под навес какого-то здания спасать свои и так уже отсыревшие майки.

Дождь шумел. Я стояла на сухом месте, смотрела на косые линии дождя и вытирала рукавом мокрое, похолодевшее лицо. Потом по лужам, уже при солнце, мы шагали в новый зоопарк.

Там, в большом бассейне, купались белые медведи. Официально они считались белыми, на самом же деле шерсть их уже давно утратила белизну и приобрела грязно-желтую окраску. Молодой медведь был испорчен цивилизацией,— он задирал вверх голову и клянчил лакомства. В воде плавала бочка. Раздосадованный медвежонок (люди — существа довольно скупые) старался вскарабкаться на бочку, чтобы быть повыше и поближе к людям — авось расщедрятся и бросят конфетку. Бочка неизменно переворачивалась, и потешный растяпа летел вверх тормашками в воду. Подплывала мать и шлепала разобиженного медвежонка.

В этом зоопарке, в отличие от старого, звери имели больше свободы и простора. Семейство львов было отгорожено от зрителей рвом, широким настолько, что звери не имели сил его перепрыгнуть. Никаких решеток. Солнце и трава.

Сзади пещера (грот такой, где львы жили). Сам лев лежал и, сощурив глаза, нежился на солнце. Вокруг него и львицы копошились львята. Они родились в неволе. Мне было немного тяжело: я не люблю видеть животных в неволе. Лев имел гриву и полное отсутствие величия.

Мы долго ходили по зоопарку. Смотрели змей, черепах, диких собак. Видели жирафа, который катал в коляске детей, и усталые, наполненные разнообразными впечатлениями пошли домой. Мы даже диковинных рыб видели,— большие, маленькие плавали каждая в своем аквариуме и тыкались носами в стекло, освещенное электрическим светом. Аквариум был устроен интересно. Как только заходите, сразу попадаете в немного таинственную обстановку — сырость каменного коридора, в стенах которого вделаны стекла; за стеклами рыбы и вода; рыбы плавают, а под брюшками у них волнуются водоросли.

Я сразу вспомнила книгу Жюль Верна „Капитан Немо": словно мы находимся под водой на своей подводной лодке и смотрим на рыб через стекло.

Меня восхитили золотые рыбки; они переливались в воде, распустив длинные перышки-плавники, до того тоненькие, что края их расплывались, как бахромка.

Я долго стояла у аквариума. Ребята ушли. Стало тихо. Я опомнилась и побежала по коридорам искать их.

В одном из аквариумов все рыбки подохли и покрылись чем-то красным. Нам объяснили, что болезнь, от которой они умерли, самая опасная рыбья болезнь.

Зоопарк настолько большой, что многое с первого раза невозможно запомнить.

Я забыла еще написать про орангутанга Фрину, над которой делает опыты и ведет воспитательную работу профессор Мантейфель.

У Фрины есть свои собственные апартаменты: постель, комната отдыха с трапециями. Правда, все это в большой клетке с толстыми прутьями. Фрина ласково умеет целоваться и есть ложкой. Для нее из-заграницы выписывают бананы. Когда мы были в зоопарке, Фрине нездоровилось; она грустно сидела,

упершись косточками пальцев в пол. У нее круглый, нежный животик и очень длинные руки с косицами на локтях. Фрина походила вот на кого: в детстве я читала книжечку про трех обезьянок — Мику, Маку и Микуху, и все они трое были нарисованы на обложке книги. Фрина ростом была ниже среднего человека. Фрине сделали какой-то укол (для чего, я не знаю), закутали в одеяла и уложили спать.

Спокойной ночи, Фрина!

Все пионеры на свете всегда и везде связаны золотыми нитями дружбы и друг с другом, и с комсомолом, и с Горьким, и со Сталиным.

В мавзолее у Ленина

Ребята! В самом главном городе — в Москве, где улицы залиты асфальтом, где много-много больших каменных зданий, где движение автомобилей, трамваев и людей похоже на весеннее половодье рек, где звуки плотно заполняют все улицы и переулки,— в центре мы увидали молчаливую кремлевскую стену. За зубчатой кремлевской стеной живет хороший добрый Сталин.

На большой Красной площади, возле кремлевской стены, стоит мавзолей. Он сложен из красных и черных мраморных плит. Вход в него охраняет почетный караул красноармейцев.

Разноцветным кольцом опоясали люди мавзолей. Медленно двигаются, говорят только шопотом. Кремль окутан влажным облаком тумана. Платье покрылось сыростью точно капельками ртути. Кремлевская башня, обычно красная, сегодня была сизой, и словно таяли ее тяжелые резкие формы,— скрадывались туманом. Ветер вздыхал. Каждый звук жил своей отдельной жизнью. Не хотелось ни о чем говорить, думать о постороннем,— хотелось скорее увидеть его...

Я посмотрела вверх: на фоне грозных туч кружились птицы. При одном повороте крыльев они становились похожими на горсть снежных хлопьев, гонялись друг за другом;

они парили, словно малые дети забавлялись с ветром, увертывались, подали и вновь взлетали.

Незаметно подошли совсем близко к четырехугольному отверстию, куда входили люди. Глазами гладила красные плиты с именем Ленин, в голове эхом отдавалось: Ильич. На расстоянии каждый занят своим делом, мыслями, но подойдя ближе к нему, родному, думаешь об общем, хорошо близком ему и нам. Сзади меня человек в немного приплюснутой кепке с поломанным корешком, в пиджаке без пуговиц, отчего он у него развевался при каждом порыве ветра, и человек походил на опрокинутую парусную лодку. В отвороте пиджака горел КИМ; по выдающимся скулам стекали капельки дождя, на смуглом лице узкие глаза казались еще темнее и нетерпеливо скользили по мавзолею — хотели проникнуть туда, к нему. Я повернулась к нему. От движения капельки с головы змейками поползли за воротник. Чуть слышно, не нарушая тишины, спросила:

— Вы здешний?

Он вздрогнул, посмотрел — на свой КИМ, на мой галстук и, найдя общий язык, сказал:

— Нет, я из Монголии. В отпуске, приехал его посмотреть. Потом нашим расскажу. Я хорошо его посмотрю... хорошо... чтобы на всю жизнь...

Голос его задрожал, глаза стали ласковыми и немного влажными, а кончики губ чуть-чуть опустились. Но через секунду он преобразился: руки заложены в карманы, в голосе уверенность.

— Мы хорошо работали, но добьемся большего.

И я верю ему.

Вступив на первую плиту, он быстро сорвал кепку, обнажив черные, чуть взлохмаченные волосы. Гуськом медленно спускаемся по черным ступенькам вниз. Синяя жилка на лбу бьется сильнее.

Полусвет... траур... Стены — точно черное зеркало. Мрамор. Прямо перед нами — яркий герб СССР. Колосья на нем казались настоящими; они были плотно обхвачены лентой, из корней всходило солнце, освещая лучами карту мира. На карте тесно спаяны серп и молот.

По ступенчатому длинному коридору, выложенному из черных и красных зеркал, идем дальше. В сердцах одно большое ожидание:

— Скоро... сейчас увидим...

Разные глаза: голубые, серые, карие — смотрят напряженно, не отрываясь. На возвышении, точно в стеклянном гробу, он — родной Ленин... Ильич. Откуда-то сверху опускаются косые лучи оранжевого цвета, освещая возвышение. Глаза ребят смотрят правдиво и твердо, как будто дают клятву на всю жизнь:

— Учиться... работать.

У меня большое желание дотронуться, погладить стекло, за которым лежит он. Каждый мысленно обещает так много-много, как будто бы человек с большим восковым лбом услышит.

Медленно идут, обходя кругом; стараются смотреть не отрываясь, запомнить каждую черточку этого спокойного лица.

— Я не забуду,— думает каждый, поднимаясь по черным ступенькам лестницы.

Последняя ступенька. Сколько ног проходило —больших, маленьких, в штиблетах, ботинках, катанках, лаптях! Много видела их ступенька.

Вышли в живые, звенящие улицы города. Вздохнули полной грудью. Мой сосед идет с нами, дождь примочил непокорные пряди его черных волос. Кепка все еще судорожно сжата в руке. Разве до нее, когда бьется сердце, хочется жить, жить!

Ему надо заворачивать. Повернувшись к нам, он твердо сказал:

— Я хорошо запомнил; я слово Ильичу дал: работать как никогда.

По улицам реками текут толпы. Пятнадцать сибирских пионеров идут среди потока людей. Их головы приподняты, щеки горят, глаза грустные и горячие.

Точно после торжественного обещания идут ребята.

Боря и Юра

В окна наших комнат врывается непрерывный гул, а перед глазами сверкающим полумесяцем раскинулась Москва, переливаясь, мигая, мерцая бесчисленными огнями. Сегодня вечером мы все в одной из небольших уютных комнат, занимаемых нами. Среди нас гости: два московских пионера—Юра и Боря, с которыми мы только что познакомились. Мы разместились за небольшим круглым столом, у открытого окна, у того, из которого так красива Москва.

В окно вместе с вечерним шумом врывается ветерок; он тихо покачивает громадную лампочку под круглым абажуром, которая, свисая над нашими головами, освещает всех, а по стенам комнаты чертит причудливые полукруги. Юра, черный от загара (он недавно приехал из Артэка), рассказывает нам о том, как он и Боря искали нас по Москве.

— Понимаете, ребята, пришла нам с Борей в голову гениальная идея—познакомиться с вами. Мы читали о вас в статье Горького „Мальчики и девочки", ну, и решили познакомиться. Ну, раз мы решили, так, конечно, обязательно познакомимся.—Он говорит быстро и вертит в руках многострадальную бумажку, свернутую трубочкой.

— Ну, приступили мы к поискам и в заключение наших трудов прочитали в одной газете, что ваша стенгазета „База курносых на колесах" лежит на 2-й Мещанской. Мы были очень довольны своими успехами. На военном совете решили, что на 2-й Мещанской она может находиться только в общежитии ОПТЭ.

Бумажка в руках Юры рвется в клочки. Рассказывая, он выхватывает из рук Бори карандаш, которым тот старательно рисовал в альбом Аре на память тигра и, заменив им разорванную бумажку, продолжает:

— Туда мы скорее и помчались. От директора общежития узнали ваш адрес. Директор очень долго рассказывал нам

о вас и был очень любезен. Распрощавшись с ним и выйдя из ворот общежития, мы были так рады, что вас нашли и что...

Тут мы заметили, что Боря, стараясь не уронить с колен альбом, тихонько, вместе со стулом, отодвигается от Юры на другой конец комнаты и, удобно усевшись там, с невыразимым спокойствием продолжает рисовать. Юра же, не замечая этого, продолжает:

— Мы такие молодцы, что я от радости—вот так—как стукну Борьку в бок...

Он замахивается, показывая на примере, „как он двинул Борьку в бок", но, просчитавшись, удивленно уставился на то место, где только что сидел Боря. Мы все оглушительно хохочем. Сегодня в нашей комнате у окна уютно и весело. Мы, перебивая друг друга, расспрашиваем своих гостей о школе, о Москве, об Артеке, рассказываем им о себе, о нашей книге, об Иркутске, о нашей любимице Ангаре. Потом второй пионер — Боря — рассказывает о Беломорскобалтийском канале. Он говорит хорошо и просто. С увлечением описывает нам великую стройку канала. Он говорит о новых людях нашей страны, которые раньше были вредителями, ворами и которые теперь лучшие ударники. Он говорит о сизо-голубой глади канала, по которому скоро пройдут наши громадные пароходы. Мы слушали, затаив дыхание.

Затихает шум города. Еще ярче пылает разноцветными огнями Москва. Уже поздно...

Нам хочется как можно дольше протянуть сегодняшний вечер, но Галя делает строгие глаза: ведь уже 12 часов! Мы прощаемся с нашими новыми друзьями, уговорившись встретиться завтра. Группами расходимся по своим комнатам. На ночь, снимая пионерский галстук и вешая его на спинку кровати, я думаю о том, что вижу вот Юру и Борю первый раз, а кажутся они мне такими близкими, как наши ребята из литкружка. И радостно мне оттого, что они такие хорошие и простые.

Мы здорово устали за день и потому скорее ложимся. В голове спутались мысли. Перед закрытыми глазами быстро проносится бесконечный воображаемый канал. Одна мысль

не оставляет меня: как хорошо нам живется сейчас, как много есть хорошего в жизни, как много увидим и узнаем мы в будущем! Я это высказываю Шуре, она задумчиво кивает головой. Девочки тушат свет. Мы спим.

В „Пионерской правде“

Когда мы все уселись на большой диван в комнате редакции „Пионерской правды“, дядя с угловатыми плечами и в очках, хлопнув в ладоши, предложил:

— Давайте, курносики, откроем нашу встречу песней.

Мы согласились и предложили спеть „Кудрявую“. Седоволосый, высокий дядя с большим носом и в сером костюме открыл окно (в комнате было накурено) и затянул песню. Когда мы кончили петь, дядя в сером костюме представился нам, и оказалось, что это был детский писатель—автор „Крокодила Крокодиловича“ или, как он себя называл, ленинградский и московский Корней Иванович Чуковский. С ним была высокая женщина в сдвинутом набок белом берете. Она была тоже детская писательница—Агния Барто. Прочитала нам свою „Болтунью“, которая всем очень понравилась. Потом мы все по очереди декламировали свои стихи; нас здесь же поправляли, советовали, как лучше изобразить то или другое. Но самое интересное началось потом, в другой комнате, куда нас позвали пить чай. Тот же дядя в очках сказал:

— Ну, а теперь, ребятишки, подкрепимся, да еще поговорим кое о чем.

Стол был уставлен всякими вкусными вещами: тортами, пирожными, конфетами, фруктами. Чуковский, сев между Аней и Гриней и помешивая ложечкой в стакане, сказал, указывая на вкусную вещицу:

— А это, чур, моя штуковина.

Ребята стеснялись недолго, быстро „подкрепились“ и занялись фруктами. Поднялся человек и стал рассказывать о работе пионерских отрядов в Союзе. Ребята с увлечением слушали,—речь шла о ликвидации баз. Вдруг человек лукаво улыбнувшись, задал нам вопрос:

— А, ну-ка, ребята, кто из вас значкист БГТО?

Рафа отложил в сторону виноград, Ада теребила платок.

— Вот да. Летние нормы сданы, а зимние нет?

Ребята смущенно молчали.

— А кто юный ворошиловский стрелок?

Васек и Фима тренировались, но норм сдать не успели. Опять молчание.

— А кто строит авиамодели, кто?

Человек спрашивал, а мы молчали.

—Вот это-то и плохо, ребята, нельзя быть односторонне развитыми. Вы дали хороший пример: написали книгу. Молодцы, ребята, я хвалю вас! Но этого мало, надо быть примером во всем: надо быть значкистом БГТО, надо быть юными ворошиловцами, надо уметь строить авиамодели.

Мы единодушно согласились. А потом мы стали рассказывать, как работала наша пионерская база, как получили знамя лучших, какие у нас кружки... Нам посоветовали, как лучше наладить работу, как интересно проводить сборы отряда и звена. Подарили нам много журналов и газет, а мы обещали писать о жизни школы и отряда.

— Ну, а что, ребята, вы наверное, теперь все хотите быть писателями?

Но нет, никто из нас не хотел быть писателем. А когда спросили Ару, кем хочет быть она, Ара ответила, что еще не знает, вот поучится, тогда видно будет. Ведь учиться ей еще три года.

— Верно,—сказал человек в очках,— совершенно верно, сперва учиться, а профессию выбирать потом.

Мы радостно и хорошо попрощались. А когда спускались по лестнице, то человек крикнул с верхней площадки:

— Не забывайте, ребята: сперва учиться, а профессию выбирать потом!

Этот вечер мы не забудем никогда, он останется неизгладимым в нашей памяти. Нас так ласково приняли и так хорошо, по-товарищески поругали.

Друг — самый большой

Мы вышли на улицу. Была теплая московская ночь. По улицам звякали трамваи, шуршали шины легких такси, гудели сигнальные сирены, из плавающих в воздухе электрических шаров лились оранжевые волны света.

Толпы людей шли взад и вперед, переходили улицы, останавливались на углах, нетерпеливо следя за светофарами, и снова шли, торопливо перегоняя друг друга.

А на Красной площади тихо; здесь не бегают змейки трамваев, здесь меньше движения и прозрачный полумрак.

Воздух теплый и свежий. Лаская лицо, осторожный ветер ерошит волосы, морщинит на спине майку. Мы идем медленным шагом, молча перебирая в уме все сказанное и слышанное нами сегодня.

Я иду, наклонив голову, руки за спиной и шаркаю ногами по панели. Шла, шла, шаркала, шаркала и наступила себе на ногу; остановилась, подняла голову и вижу—Кремлевская стена. Темный зубчатый силуэт ее вырисовывается на звездном небе, и звезды и зубцы особенные—наши пионерские, потому что они сделаны в форме пионерского флажка, разрезанного посредине. За стеной здание с круглой крышей, похожей на опрокинутую чашу, а насредине—шпиль, а на шпиле—флаг красный полощется. Окна здания светятся. Может быть, у этого или вот у крайнего окна сидит Сталин? А, может быть, вон там? А из окон этих всю страну видно.

Когда мама делала мне маленькой что-нибудь очень приятное, я говорила ей: „ма-ма“, растягивая слова. И мне здесь тоже захотелось встать и крикнуть Сталину в окошко: „Ста-лин!“

Стоим мы все, как будто сговорились, смотрим на стену, флаг, здание, окна и думаем: за стеной тот, кого мы сильно

желаем видеть, кого мы очень любим—вождь всех пролетариев и, главное, друг детей—Сталин. И отделяет нас от него только стена, самое большее толщиной в метр-два, а стала между нами и не пускает. Хотелось прижаться к ней близко, близко и думать, что сейчас мы совсем рядом со Сталиным; смотреть на него и чувствовать, что он нам родной, что он наш, ребячий, пионерский.

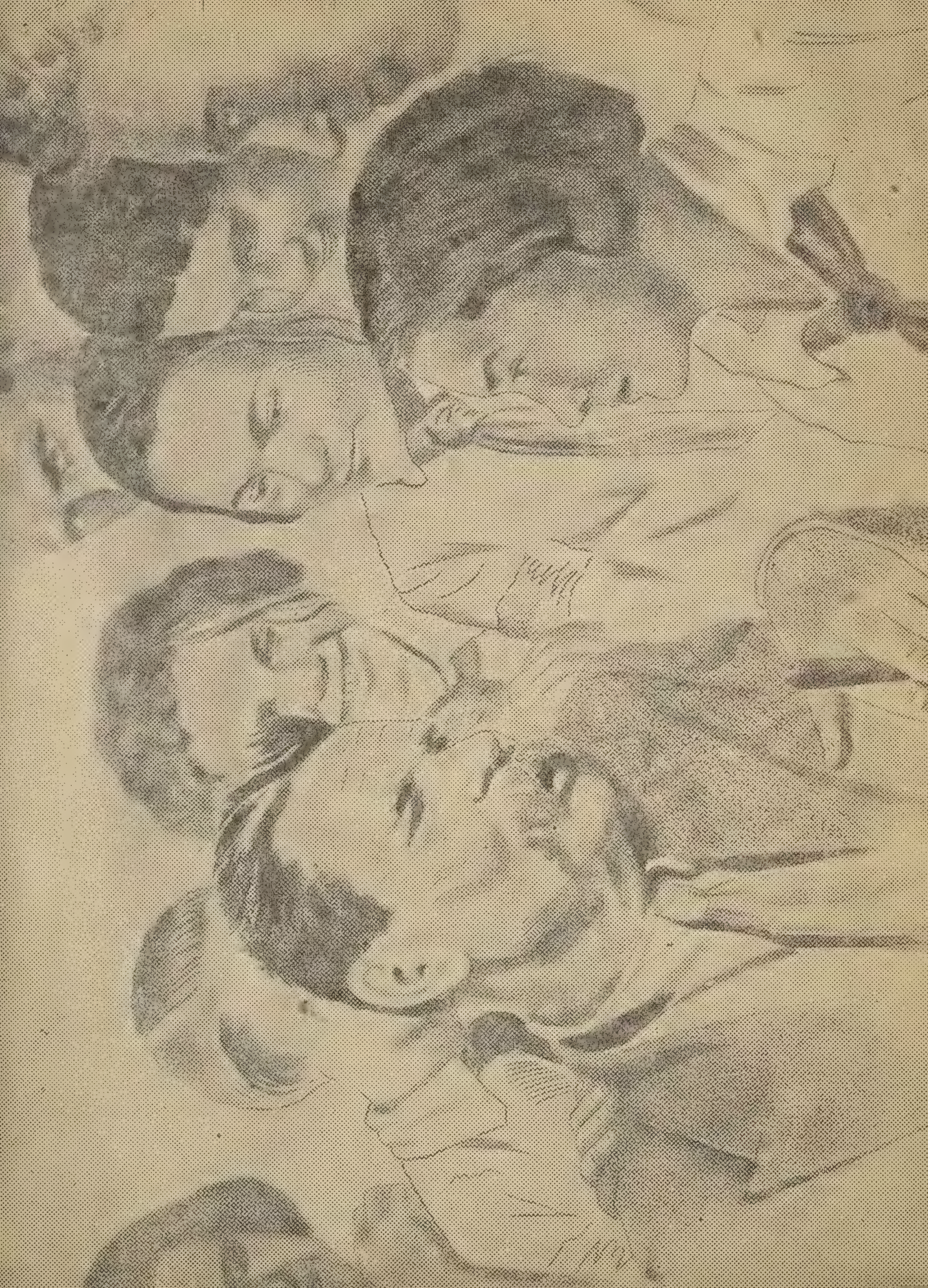
Мы стояли дружной, небольшой кучкой, прижавшись друг к другу. Хотелось слить нашу дружбу во что-то бодрое, смелое и веселое, как зорька сибирским туманным лагерным утром,—слить ее еще больше и перекинуть за Кремлевскую стену к Сталину, чтобы она прокричала ему, что мы страшно хотим видеть его; чтобы сказать ему, что мы его любим, что он наш, что будем жить, как он учит, и передать ему самый большой, хороший пионерский привет.

А в горле и груди засел какой-то комочек. Обидно было до слез. Ведь не всем ребятам бывает такое счастье—быть в Москве, да еще из Сибири, а нам посчастливилось. И обидно, обидно... Были мы так близко около Сталина и, казалось, вот-вот увидим, а не увидели. Хотелось слышать от него хорошее, ласковое слово, а слово-то уж, конечно, бы нашлось для нас, потому что он тоже любит нас—нашу пионерию и нашу родину, которой он отдает всю свою большую, замечательную жизнь.

В Горках

1

Высоко на горе скамья. По крутому подъему взбираются к ней ленивые деревья. И не могут подняться—жарко. В густой синеве неба лишь беловатое солнце. Под горою река. За рекой все луга, все рощи. И как-то близко, непонятной шторой опущен горизонт.



Я сижу на скамье. А вокруг лес. И очень непонятно: почему напротив Максим Горький? Вышел, что ли из книжки и сел под настоящее дерево? Возможно! Глаза мои смотрят удивленно, как у дошкольников при выслушивании о появлении в лесу деда Мороза.

Только солнечный душ из зеленой сеточки листьев падает на большие плечи. Только правда, что сидит, облокотившись на колено, Максим Горький. А вокруг лес, и хорошо, как бывает только в лесу. Чуть покачивается голубоватый галстук. Горький смотрит на озабоченного муравья. Муравей ползет по его брюкам.

Отчего так сильно бьется мое сердце, как расшалившийся октябренок, и мне немного страшно—вдруг Горький услышит его? Что подумает? А муравей ползет, ползет... ему все равно. Он не знает, что это брюки Максима Горького.

Но вот от реки долетает восторженный визг: это вода первыми брызгами обняла гостей. Это ведь Горки. Мы приехали сюда в гости к Горькому. Он здесь живет на даче. Горки угощают „курносых“ лучшим лакомством лета—купаньем.

И здесь на горе, над рекой, я сижу с Алексеем Максимовичем. Мы их подождем. Я думаю: „Хотя бы они подольше купались“. Я думаю: „Что-нибудь нужно сказать“.

Но так интересно на него смотреть и молчать. Вот он улыбнулся чему-то. Под серым костюмом ясно чувствуются прямые углы его плеч и колен. Такие же прямые и четкие, как и сам он.

Но вот, погладив рукой колени, он подается немного вперед:

— Ну, а все-таки трудно вожатым-то быть?

„Нет ли шутки здесь?“—думаю я. Но по голубым глазам вижу, что он серьезно ждет ответа.

Есть такие секунды, когда думаешь обо всем сразу. Так необыкновенно близко в этом вопросе почувствовалась забота. Больше чем когда-либо, я боялась в ту минуту соврать. Я собралась с духом и с перехватившимся от волнения голосом очень радостно прохрипела:

— Ой, нет, что вы? Очень хорошо!

От досады на голос в углу глаза появилась капелька. Я еще испугалась: „Вдруг он мне не поверит?“ и вынужденно добавила:

— Конечно, бывает иногда...

Но как хотелось ему о многом сказать!

Задумчиво говорит Алексей Максимович:

— Да... да...

И опять поглаживает рукой колено. Я знаю—он понял. Я так рада, что он понял. Если бы можно было рассказать, почему я не могла больше сидеть спокойно! Вскочила и, держась за крутые перила, часто затопала по белым лесенкам вниз, к речке.

От горы на воду легла тень. Ребята у берега визжат и брызгаются. Подплывает лодка. В ней стоит Джека, с шестом и в мокром галстуке. С видом местного жителя она предлагает:

— Садись, подвезу.

Мы отправляемся с ней на ту сторону речки. Ребята бросаются за нами. С кудряшками мокрых волос на щеках они вцепляются в борта лодки и азартно колотят ногами по воде. От этого вода взлетает вверх и прозрачными, колеблющимися шариками падает обратно. Добравшись до противоположного, еще полного солнцем берега, мы в мокрых купальниках барахтаемся в белой муке песка.

Крики и писк. Совсем наш далекий лагерь. Кричит самый младший, с коричневыми веснушками на руках—Гриня:

— Сюда Ангару надо! Что это за река, убрать!

Алла в полосатой купалке лежит на спине. Она шагает по небу ногами и поет:

— А песок к нам в ла-агерь!

И густо разбрасывает вокруг себя теплый, белый песок.

Но вдруг мы вспоминаем, что нельзя же так долго. Разлетевшись из „кучи малой“, мы вскакиваем и смотрим на зеленую гору за речкой. Склоны ее уже покрылись тенью. А высоко вверху, точно откинувшись на лучи солнца, стоит высокая, угловатая фигура Алексея Максимовича. Он терпеливо помахивает нам белым платком.

2

Как цыплята на курицу, налетают мокроволосые ребята на Алексея Максимовича. Подпираемый ими, он ведет всех по желтой дорожке. Ребята юлят у него под ногами. Каждый рассказывает о своем. Двое, строя друг другу угрожающие гримасы, молчаливо спорят из-за его руки. Рук у Алексея Максимовича две. В результате два пальца занимает Алла, а три—Рафка. Но держаться за одну руку неудобно, и Рафка наступает на аллины пятки. Оба очень довольны. Они держатся за руку товарища Максима Горького. Они, закинув головы, видят вверху удлиненные ноздри его носа и его добрые веселые глаза. Алексей Максимович счастлив.

— Ой, сколько у вас роз!

— Целое поле!—объявляют ребята.

И правда, перед нами, на большой поляне среди парка, точно разостлан разноцветный ковер из роз.

Мы впервые видим настоящие розы,—у нас они не растут.

Восторженно галдящая группа пионеров, зажав в своем центре высокую фигуру Алексея Максимовича, шарахается от одной клумбы к другой.

— У вас розы самые красивые? Да?

— Какие это розы!—серьезно басит Алексей Максимович.—Отцвели лучшие-то.

Смеются ребята. Смеется предвечернее красноватое солнце. Смеется угловатый человек в сером костюме. Он изредка тянет рукой галстук. Ему, должно быть, немного жарко.

Но внезапно Алексей Максимович начинает упираться. Вопросительно поднимаются к нему ребячьи лица.

— А вы мокрые-то штуки свои повесьте-ка вон туда,— говорит он и указывает на перила террасы дома напротив.

Он уже говорил об этом еще там, над рекой.

Я хмурю брови, мне досадно. Почему это я опять забыла? Ведь я вожатая.

Через минуту на черных перилах светлого дома беспечно болтаются привыкшие к любой обстановке выцветшие трусики ребят. Алексей Максимович успокаивается.

— Ну, вот и высохнет,—говорит он.

Ребята очень ласково тянут его за руки и за карманы. Мы опять направляемся к белым и желтым розам. А розы все разные: есть побольше и есть поменьше; есть набухшие от обилия лепестков; есть еще робко распускающиеся. Их так много. И каждая из них по-своему хороша. И на каждую хочется посмотреть, точно она из семьи или маленькая часть Алексея Максимовича.

— А сейчас мы позовем Соловья,—внезапно говорит он и, заметив удивление на лицах ребят, довольно шевелит усами.

И вот появляется Соловей... в шляпе, с большими садовыми ножницами. Он, оказывается, садовник. Соловья окружают ребята, приседают за ним на корточки, и он ловко начинает резать тонкие талии роз. Когда жадные руки ребят лезут под ножницы, Соловей терпеливо останавливается, смеется тихо и выжидающе блестит глазами из-под широких полей шляпы.

Он похож на Максима Горького. Он очень добрый и хороший, как, впрочем, все живущие с Алексеем Максимовичем люди.

Вскоре у каждого пионера есть букет. Вскоре дорожки начинают казаться давно знакомыми. Вскоре веселые ребята весело разбегаются по ним, зарывая розовые от радости лица в нежные букеты цветов. Потом все уходят на крыльцо дома. Там—Алексей Максимович.

Вокруг стула, на котором он сидит, стоят ребята. У девочек в гребенках розы. Желтоволосой Аре он говорит очень нежно:

— Рыжая...

Ребята в восторге.

Но круглая Ада все еще ползает на коленях по дорожкам. Она хочет выяснить: пахнут ли все-таки эти цветы? Она читала, что не пахнут. Может быть, ей кажется, что от этих цветов идет еле заметный аромат? А, впрочем, все может быть в этом саду.

Соловей срезает мне большую розовую розу. Я беру ее в чашечку ладоней и иду с ней по парку. Я знаю, это самая красивая роза из сада Горького! „Я увезу тебя в Сибирь!—весело говорю я ей.—На память!“

3

Был закат, когда, следуя за Алексеем Максимовичем, мы вошли в дом, в комнату с большими окнами. Чуть зеленоватая и пустая. На нас вдруг пахнуло весной, самой ранней,— знаешь, когда в ванночках из снега еще стынет синеватый ледок, когда на давным-давно обглоданных ветром ветках рождаются робкие почки. В комнате было свежо.

Из чашек, расставленных по краям большого стола, поднимался весенний пар. Посредине стола громоздилась ваза с грушами и виноградом. Блюда дразнились пирожными и бутербродами.

Все вдруг вспомнили, что хотят есть. Все — пионеры и Алексей Максимович—живо расселись вокруг стола, каждый против чашки с чаем. Руки потянулись к вазам и коробкам, и симметричный парад пирожков вскоре затерялся в серебре бумажек и звякании ложек. Стол торопливо принимал беспорядочный, домашний вид.

Больше всех был доволен Алексей Максимович. Его немного бледное лицо смеялось. Поглядывая на кого-нибудь из мальчиков или девочек и слушая, он восторженно вздымал брови и как-то весь подавался вперед и бровями, и носом, и подбородком. Он целиком отдавался выслушиванию пионерской болтовни, точно было перед ним что-то удивительно новое, замечательное, никогда невиданное. Однако, он не забывал с любовью провожать в блюдце тринадцатилетнего соседа Грини конфеты и пряники. Грине от этого еще больше хотелось есть.

Заметив, что Алексей Максимович сам ест очень мало, ребята живо превратились в хозяев и принялись угощать его. Непоседа Рафка взял у трех пионерок коробку и бережно придвинул ее к Алексею Максимовичу. И когда Алексей Максимович случайно взял из нее конфету, и Рафка и девочки были очень, очень рады. Чашка у Алексея Максимовича была больше всех чашек на столе. Должно быть, он всегда из нее пьет. На ней были густо нарисованы коричневые листья и цветы. Алексей Максимович пил из нее чай

осторожно маленькими глотками. Счастливая чашка вела себя скромно и с достоинством--терпеливо стояла в блюдце и хранила в себе чай. Больше всех из посуды „задавался" самовар. Он отчаянно высвистывал самые задорные наши мотивы. Ослепительными бликами на своих боках он хохотал с нами до-упаду. Он был в восторге, что находится в центре пионерского внимания. Его „ставили" для нас два раза.

Как только кто-нибудь из „курносых" посылал к нему свою пустую чашку, он принимался радостно клокотать и захлебывался счастливым паром. Но хоть чашки и не люди, но они устали поить нас чаем. Я надеюсь, вы поняли?

Мы—просто насытились.

И вот наша мечтательная Шура, часто заморгав карими глазами, наконец, решила попросить самое заветное:

— Алексей Максимович, почитайте нам что-нибудь свое.

Алексей Максимович отнял от усов свою большую чашку и весело крикнул в дверь:

— Посмотрите-ка, нет ли там чего-нибудь Горького?

Но в доме не нашлось ни одной книжки этого писателя.

— Ничего нет,—виновато сказал Горький.

— Интересно,—сказала удивленная Шура,—у Горького и нет Горького!—и, недоумевая, склонила голову набок.

Тогда кто-то тихо попросил:

— Расскажите тогда про Италию. Вы, ведь, там были.

Ребята отодвинули чашки и поудобнее устроились слушать.

Горький откинулся на спинку стула и, вытянув руку, провел пальцами по скатерти.

— Да...—сказал он и поджал усы.—О чем же вам рассказать.

— Обо всем!—попросил Рафка.

На той стороне стола Алексей Максимович видит сидящих вряд пионеров, видит белые плечи, стянутые майками. На майках аккуратно повязаны красные сатиновые галстуки. Глаза у ребят влажные от интереса. Справа сидит светлоглазая девочка.

Девочка тоже с большим интересом слушает, но Максим Горький иногда смотрит ей прямо в глаза, и тогда от радости

она все забывает. Но вот рассказ Горького становится сильнее. Живые картины заставляют забыть девочку, где она. Она видит многосемейных итальянцев, они копошатся на изнемогающих от изобилия винограда горах. Но почему у них нет хлеба? Девочка с красным галстуком видит черную лаву вулканов, заливающую виноградники и людей, видит оборванных певцов у высоких колонн музеев. Картины цветной кино-лентой мелькают в воображении девочки, и все они на фоне таких добрых, внимательных глаз... Глаза Горького опять притягивают внимание девочки; тогда она щурится и в тишине звучно режет ножом маленькую грушу. Девочке как-то по-новому хорошо. Она видит: у синего одеяла моря спят бездомные, незнакомые итальянцы, и ей хочется сейчас же, скорее, сделать для них очень большое и нужное. И она знает что.

— Революцию им...

— А... а... — торжествующе допевает самовар.

Черными шторами ночи плотно закрылись окна. Мы переходим в соседнюю комнату. Пол ее выстлан мягким ковром. Посредине большое, низкое кресло. В кресле серые углы плеч и колен Горького. На лице добрая, добрая усмешка. За спиной кресла и на ковре пионеры. Мы все слушаем радио. Мы слышим первый Съезд советских писателей; он, ведь, близко— всего сорок километров. Мы слышим, как в зал гулко входит делегация железнодорожников. Мужской голос передает привет писателю народа—Максиму Горькому. Мы слышим, как встают люди, как в Колонном зале начинают шуметь больше, больше; мы слышим, как нарастает грохот восторга. Как он катится сюда, в Горки, на этот дом.

Ребята молчат. Максим Горький недовольно ерзает в кресле. Розовая тень покрывает его лицо и залезает в усы.

— Хорошо, хорошо,— точно хочет сказать он.

Он очень просит выключить радио, но стоящая за его спиной Шура гладит серый ершик его волос и просит:

— Ну, еще немножечко...

Но Алексей Максимович начинает сердиться. Радио, кашлянув, умолкает.

Все молчат. Черноголовые Рафка и Гриня сидят на полу и неловко тянут друг у друга журнал. Потом, подняв голову, Рафка начинает рассказывать про Ангарострой. Все так хотят выразить свою любовь к Алексею Максимовичу. Даже гладенько причесанная Аня, всегда такая одинаковая и застенчивая, начинает смело копаться на его груди—поправлять галстук.

Алексей Максимович молчит, слушает каждого по очереди. Голубые глаза его переполнены веселым и бодрым блеском.

Но неумолимое время идет и идет. Ребята молчаливо оттягивают минуту прощания, но невольно уже ждут ее. Поздно.

Преодолевая нежелание говорить, я заставляю себя сказать:

— Ну, ребята, пора домой.

Но обиднее всего то, что никто меня „не слышит", никто даже не оглядывается. Только Шура еще сильнее гладит Алексея Максимовича. Только Рафка начинает еще громче рассказывать о Байкале. Максим Горький тоже молчит. Я знаю — они все немного „слышали".

Очень досадно. Хочется сказать: „Что мне, в самом деле, что ли, хочется уходить?" Но у меня хватает духу промолчать. Вскоре все мы окружаем Алексея Максимовича и без конца трясем его руки. Я вынимаю из своего галстука розовую розу и продеваю ее в петлицу серого пиджака.

Максим Горький смеется.

Из дверей в темноту падает свет. Луч света хватает черный бок легковой машины, но не может поймать и скользит по нему, и стекает вместе с каплями дождя.

На дорожке света стоит Алексей Максимович.

— Закрывайте шею,— говорит он.

Как будто это так важно!

Ветер загибает края его пиджака, шевелит опущенными усами. Даже роза в петлице вздрагивает беспомощно.

— Дорогой Алексей Максимович, досви-да-ни-я!—громко кричим мы, привстав в машине, и немного дрожим от чего-то.

Галстуки наши, свитые ветром, тянутся в сторону этого человека. Разве в „закрывайте шею“ здесь дело? Ведь мы сейчас уедем!

Алексей Максимович смахивает с ресниц... дождинку! Дождинки блестят и на розовых лепестках. Слезы и у нас на щеках. Они быстро бегут, и нам не стыдно. Нам всем как-то тяжело и хорошо. И мы в каком-то недоумении кричим:

— Дорогой, дорогой наш Алексей Максимович, до-свида-ни-я!

Луч света, окончательно поскользнувшись на черной машине, опустил ее.

Вот последний раз за завесой дождя мелькнули вдруг такие знакомые угловатые плечи. Нет, вон еще раз.

Все.

По обеим сторонам дороги мелькают черные деревья. Мы сидим, тесно прижавшись друг к другу. В лицо прыгает ветер и изредка — маленькие капельки дождя. Они прохладные.

Каждый думает об очень многом.

Вот мы едем по черным полям. Они немного спускаются вниз, и вон там, далеко, далеко, на черном бархате ночи, уже горит, точно бриллиантовая салфетка, Москва.

Машина мчится быстро, делает резкие повороты. Мы смотрим вперед и молчим. Каждый думает о многом.

— Он был бы замечательным вожатым,— вдруг говорю я.

— Он и так вожатый,— говорит Шура.

Прощание с Горьким

В саду ночь. В желтеющих листьях сада шуршит крупный теплый дождь. В саду дом с белыми колоннами. Перед входом в дом яркая лампочка освещает каменную площадку, крыльцо и окружающие цветы. Цветы приподнялись от дождя; в их свежих, потвердевших щечках алмазами блестят крупные дождевые капли. Крупные бусинки дождя разбиваются на мел-

кие осколочки о каменное крыльцо. Осколочки подскакивают вверх, вспыхивают яркими огоньками и черными пятнышками оседают на камне.

Мы выходим из дома на каменную площадку, тесным кольцом окружив Алексея Максимовича. У него сейчас смешно торчат колючие усы, и на ершик густых волос капает дождь. Самые хорошие глаза, обводя уцепившихся за рукава ребят, каждому шутливо говорят: „Ну, ишь ты ведь какой!“ Может быть, именно поэтому так хочется слушать Алексея Максимовича и обязательно подержаться за серые рукава. Глаза у всех ребят блестят. Невыразимо хорошо. Я знаю, если внимательно посмотреть в глаза каждому из нас, то увидишь — они будут глубокими, глубокими.

Курносенькая Алка обеими руками держится за руку Алексея Максимовича и все хочет что-то сказать ему. Да и всем нам хочется сказать что-то самое хорошее, что он и так знает.

Звенит дождь в саду, блестят капли на цветах, а у каменного крыльца шумно и нетерпеливо вздыхают легковые машины. Пора прощаться. Мы обещаем Алексею Максимовичу, что будем стараться учиться; мы обещаем внимательнее смотреть и слушать жизнь; мы обещаем крепко, крепко любить жизнь, завоеванную для нас. В голубых глазах Алексея Максимовича блестят слезинки.

Как хотелось бы нам вернуть детство Алексею Максимовичу, чтобы побежать с ним взапуски с зеленых гор родного сибирского лагеря, брызгаться холодной водой знакомой Ольховки, слушать вместе наш лес, наши горы! Нам всем немножко грустно и хочется радостно заплакать от большого счастья—быть юным в Советской стране. Рафка старается шутить, но и у него в глазах блестят теплые, влажные искорки.

— Досвиданья, Алексей Максимович!

Мы идем к автомобилям, несем красивые, душистые букеты цветов. Свет от лампочки падает на большие плечи высокого, сгорбленного человека. Издали кажется, будто человек этот долго нес какую-то тяжесть и уже поставил ее, но выпрямиться еще не может.

Зажглись глаза автомобилей. Мы крикнули Алексею Максимовичу:

— Мы вас не забудем!

Горький, наш великий, близкий и простой, помахал на прощанье рукой.

Как потерялась Шура

Летний вечер. Листья маленьких, недавно посаженных деревьев чуть шевелятся от легкого ветра. В окнах больших белых домов загораются звездочки.

По гладкой асфальтовой панели идет черноволосый мальчик. Его выпуклые глаза с любопытством останавливаются на каждом предмете. Он не может спокойно пройти мимо камня,— он должен обязательно толкнуть камень, посмотреть, что у камня с другой стороны, какой там цвет, плоский он или круглый. Голова поднята вверх, руки размахивают в такт шага.

Из-за угла показывается знакомая фигура его друга Грини, с ершиком волос на голове. Он всегда теперь гордится, что у него такой же ершик, как и у Алексея Максимовича.

— Торопись, Рафка, что ты тут разгуливаешь? Все уже вернулись,— говорит он. И добавляет:— Вот где-то Шура задержалась, она ушла с Борисом — и нет долго. Девчата уже беспокоятся...

— Ну, вот еще! Если она ушла с Борисом, то, конечно, никуда не денется. Подождем. Пойдем лучше — я расскажу тебе, где я сегодня был.

Веселой ватагой высыпали ребята из узких дверей большого дома и, перегоняя друг друга, направились к машине.

Как муравьи, копошатся ребята. Под темными курточками видны белые воротнички с красными косынками, а в середине

маленького муравейника не трудно заметить большую грузовую пятитонку. На самой вершине муравейника-машины стоит завхоз нашей экскурсии—комсомолец Миша; пышные черные волосы его развеваются от легкого ветерка. „Конвейер“ быстро передает чемоданы, постельные мешки.

Машина тронулась, а Шуры все еще нет. Беспокойно оглядываемся по сторонам,—может быть, вот сейчас она придет...

Вот уже знакомое здание Северного вокзала. Ярко освещены большие залы, коридоры. Мы сидим и бережно осматриваем свои вещи—все ли цело.

Надеялись встретить Шуру на вокзале, но и этой надежде не суждено было сбыться.

Миша сговорился с Галей, что он останется в Москве, чтобы найти Шуру, и догонит нас.

Поезд развивает ход. Вот видны редеющие постройки; вот уже начинается лес, поля, а дальше—большой, большой простор. Мы смотрим в окна на последние дома Москвы, где мы видели столько хорошего, что никогда, никогда не забудем. Кто знает—может быть, кому-нибудь из нас не придется больше видеть Москву!

Вдруг Галя беспокойно озирается, глаза ее округляются, непокорная прядь волос спускается на лоб, и она сообщает:

— Ребята, мы остались без билетов: Миша не передал мне портфеля.

В суете и беспокойстве о Шуре Миша забыл передать Гале портфель с документами, и вот мы едем без билетов. Начинаются разные толки. Рафка со своей неспокойной натурой уже строит планы, как он поедет на подножке вагона; девчата „мечтают“ о перспективах, когда их, безбилетных, высадят из поезда. Соня быстро, под диктовку Жени и Гали, пишет телеграмму. Остальные опустили головы.

В вагон входит кондуктор. Его лицо серьезно. Он остановился около нас и спрашивает:

— Это вы—пионеры, едущие с эскурсией? Да?

Галя выпрямляется, смотрит на него несколько секунд и отвечает:

— Да, это мы.

— Ну, вот и хорошо,— добродушно заканчивает кондуктор, и его длинные усы от улыбки поднимаются вверх.— Езжайте спокойно, мы получили телеграмму, что ваш завхоз задержался, а билеты у него.

На лицах появляются улыбки. После волнений всех клонит ко сну.

Первая зорька зажглась где-то далеко за горами. Роса покрыла листья придорожных деревьев, траву. Как бы угадывая наше настроение, день собирается быть пасмурным.

Я просыпаюсь с мыслью о Шуре. Ведь ее нет с нами: она осталась в Москве. Наверно, сейчас она едет с Мишей и догоняет нас. Я смотрю в окно. По небу плывут тучи.

Вот никто же не отстал, а отстала, именно она — Шура. Вспоминается несколько случаев ее растерянности: она первая отстала в Парке Культуры; мы уехали, а Шура все еще что-то старательно рассматривала в Музее искусств. Шура так увлеклась, что забыла обо всем, даже новые тапочки оставила на окне.

Вон та елочка, которая промелькнула сейчас передо мной, такая же маленькая и крепкая, как Шура. У Шуры большие глаза с маленькими темными зрачками внимательно всматриваются в каждую вещь. Особенно она интересуется людьми: она их очень любит.

Весь день проходит в беспокойных толках и ожиданиях. В вагоне уже темно. Раздается мирное, тихое дыхание. Все спят. Изредка в ночной тишине раздаются звуки паровозного гудка и относятся далеко-далеко за горы.

Я просыпаюсь, когда на светлеющем небе гаснут последние звезды. Хороший сон я видела. Мне хочется рассказать его кому-нибудь. Я смотрю на свою соседку Женю. Она крепко спит и улыбается; наверное, видит во сне свою собаку Марту, она очень любит ее. Я протягиваю руку, чтобы растормашить Женю, но скрип отворившейся двери заставляет меня оглянуться.

В двери во весь рост стоит Миша, а за его спиной, виновато улыбаясь, радостная, с растрепанной от утреннего ветра

головой, в какой-то дырявой шали, придерживая ее пухлой рукой, стоит... Шура.

От удивления и радости я раскрываю рот, чувствую, что глаза мои округляются. Я прыгаю с полки и кричу так, что все сразу соскакивают.

Первый момент ребята стоят в нерешительности: подбежать ли к Шуре, расспросить ее и радоваться вместе с ней или начать с того, что хорошо отругать ее. Все с надеждой смотрят на Галю,— что скажет она?

Галя не выдержала, улыбнулась, а Шура стояла уже в центре маленького кружка и оживленно рассказывала обо всем, что с ней было.

О Коле-краснофлотце и о комсомольцах, едущих строить новый город Комсомольск

Солнце низко спустилось к лесистым горам. Справа и слева высились островерхие столбы и бросали тени, разграфляя зеленое поле. Но вот тухнут золотые блики на окнах вагонов, тени синеют. Встречающиеся реки не горят, как расплавленные золотые нити, а только блещут издалека и кое-где отливают багряным цветом облаков.

Потухли последние лучи на верхушках гор. По обе стороны вагона туман. Небо вспыхивает алыми облачками. Тишина... Скоро краски стали бледнеть, и на небе показались звезды.

Вдруг—что это? Мы так засмотрелись все на солнечный закат, что свист и пыхтение паровоза поразили нас, как нечто невозможное.

Вдали ярко загорелась красная точка, а за ней, как чудовище,—огненный хвост. Расстилался сноп искр, и тянулась

черная вереница вагонов. Свист паровоза рванул синюю тишину. Сотнями огоньков засветилась станция. Стоп, машина! За кипятком, да и спать.

Наш Гринька, худенький мальчик, с волосами, стоящими всегда ершом, с белым лбом и недоверчивым взглядом зеленых глаз, с маленьким вздернутым носиком, осыпанным рябью веснушек,—с Рафкой побежал за кипятком. И вдруг...

Широкоплечий, на бескозырке которого поблекшим золотом вырисовывалось название одного из линкоров Черноморского флота, с искорками смеха в глазах, загородил собою всю дверь. На нем — брюки, черная тужурка, с блестящими пуговицами, на которой КИМ касался значка ГТО II ступени; синий воротник с белыми линиями дорог открывал упругую мускулистую шею. В руках человек держал чемодан. В три шага он прошел вагон и занял в соседнем купе среднюю полку.

У ребят наверху оживление:

— Моряк с Черного моря.

— Да, это...—протянул Фима.

Ребята один за другим бегали в соседнее купе—очень уж интересно было посмотреть: ведь для нас, сибиряков, это диковина.

Синяя темнота плотно обступила окна. Моряк вошел в наше купе и попросил кипятку. Вертлявый Рафка не удержался и залпом выпалил:

— А вы кто? Откуда? Куда? И как вас зовут?

Моряк улыбнулся, лучами разбежались морщинки вокруг синих глаз.

— Я краснофлотец. Зовут Коля. А вы кто?

— Мы—веселое племя краснощеких, кареглазых, шустрых девочек, ребят, пионеров, октябрят,—скороговоркой проговорила Соня.

Все засмеялись. Кругом уселись вокруг нового знакомого. Много интересного рассказал он нам про Севастопольскую панораму, о Черном море, о линкоре и о многих, многих вещах...

Стрелки часов двигались с необыкновенной быстротой: наконец, концы их почти уперлись в цифру 12. Тогда Коля

сказал, что это на флотском языке означает ноль часов, ноль минут и что пора спать.

Но расходиться не хотелось.

Назавтра ребята поднялись—и сразу к Коле. Ему что-то нездоровилось. Алка незаметно выкатилась из купе, за ней—Аня, Вова, у койки осталась одна Галя. Непокорные кудряшки лезут в глаза, приходится то и дело откидывать их назад. У Коли черные брови и ресницы.

Ребята вернулись, неся заботливо каждый свою подушку, но вышло так, что Коля лежал на белой подушке с инициалами Г. К. Всем было немножко обидно: почему именно галина подушка? И лишь вечером я сообразила:

— Ведь у Гали тоже синие глаза.

Паровоз, отдуваясь, набирал воды. В вагон вошли двое.

— А, молодое поколение, наша смена! Здорово!—и отведя правую ногу назад, один из них чуть поклонился, показывая круглую, стриженую голову.

— А я—Саша, а это—товарищ мой Александр; едем мы в соседнем вагоне строить новый город Ком...

— Знаем, знаем!—закричали ребята, наперебой здороваясь с вошедшими.

Александр, с сухим, плотно обтянутым смуглой кожей лицом, с черными глазами и бровями, с вздернутым носом над тонким разрезом сжатых губ, сказал:

— Заходите к нам, поговорим...

Свисток паровоза застал их на последней подножке.

По окнам текут капельки, оставляя за собою мутные дорожки. В вагоне тепло, уютно и немного душно. Белые, смуглые, рябые лица, наклонясь с полок, немного удивленно смотрят на нас. Мы пришли в гости к комсомольцам.

Начали встречу весенней песней „Кудрявая". Комсомольцы пели так хорошо и дружно, в глазах было столько жизни, радости, что мы залюбовались. Среди разноцветных рубашек ярко синел колин воротник. Он запевал громко, громко. По-

том на минуту смолкал, переводил дыхание, все подхватывали и песня неслась далеко вперед поезда. Сколько в этих ребятах силы, бодрости, огня, желания работать, возводить новый, свой город—Комсомольск!

— Нас,—рассказывает подвижной Саша,—собрали, как лучших, со всех заводов Ленинграда и послали к вам в Сибирь.

Вечером провожали Колю. Он сходил на одной из станций. Небо сеяло мелкий осенний дождь. На перроне ходили люди, стараясь обходить лужи, которые заливали весь перрон.

Глаза у нас грустные. Крепко жмем руки, обещаем писать друг другу. Коля медленно удаляется от нас. Туман окутывает его все сильней и сильней и, наконец, скрывает совсем от нас. Пятнадцать платочков, взлетая мокрыми птичками, посылают ему последний привет.

По приезде домой мы получили от него письмо. Он писал: „Я нигде так хорошо не проводил время, ребята, как с вами, и никто так хорошо, породному не провожал меня".

Поезд пошел медленнее, пронзительно свистнул и остановился. Медленный, внимательный луч прожектора скользнул по окнам вагонов. Он увидел купе. На полках спят люди—ребята. Вот внизу спит девочка. Черные волосы лежат прядями на подушке; освещен кончик носа, полураскрытый рот, выдающийся вперед подбородок. Одеяло плотно укутало девочку, затаило в темных складках какие-то хорошие сны. Вот на одной из полок спит маленький мальчик. Лицо его не освещено, но виден темнеющий на щеках румянец. В углу полки, у окна, сидит девочка; на коленях — тетрадь. Девочка засыпает, голова ее склоняется все ниже к раскрытой тетрадке. Луч не знает, что это за ребята. Но он чувствует, должно быть, что это свои, и быстро убегает в степь.

А ребята, разные по внешности и характерам, но связанные общими интересами одной многомиллионной семьи, спокойно спят.

Раскрытая тетрадь на коленях девочки—путевой дневник. Он падает на пол. Ребята сегодня поздно легли спать. Они встретились в поезде с комсомольцами, едущими на Амур строить город Комсомольск. Завтра 15 пионеров будут дома,

а комсомольцы поедут дальше. И комсомольцы и пионеры везут в маленьких мешочках сердца огромную радость. Пионерам хочется залезть на высокую, высокую башню элеватора, чтобы увидеть всю свою родину, чтобы сказать ей и ее людям свое пионерское спасибо. Они везут с собой восточносибирским ребятам рассказы о Горьком, о Москве, о парках, метро, планетарии, о комсомольцах, едущих строить город Комсомольск.

Поезд мчится. Все дальше и дальше. Далеко позади остались желтые полосы сторожевых прожекторов.

Поезд мчится на восток.

Скоро дома

Мчится поезд по сибирской степи. Расплескалась степь зеленым морем. Белый, пушистый ковыль кажется пенистыми гребешками зеленых волн. Далеко разбежалось зеленое море, до самых кружевных, белеющих вдали гор. Большое небо высоко поднялось над степью. Много, много простора. Посмотри, как хорошо там. Хочется выпрыгнуть из вагона, вдохнуть в себя степной воздух и бежать, смеясь, по степи... Трава чуть тронута буроватой тенью сентября; чуть желтеет камыш, окружая, точно ресницы, бездонно-голубые озера—глаза степи.

Мчится поезд, посылая по ветру мягкий, черный дым, а на степь надвигается вечер. Серым туманом обволакивает он небо, точно расплываются в нем горы и степь. Солнце уходит за горы и все же кажется, будто мчится оно вместе с поездом. Круглое, горячее, оно бежит наперегонки с ним, все окутанное оранжевым шарфом заката.

Мчится поезд на восток, заливает чернотою просторы.

Чернота уже плотно прижалась к окнам вагонов. Посмотри—теперь ничего не видно. Но вот к окнам потянулись широкие полосы. Они становятся шире. Это лучи прожекторов. Зорким глазом они охраняют степь и высокие элеваторы.

Глава последняя

Об авторах

Ребята! Вы все читали книгу „База курносых“. Пятнадцать авторов этой книги, пионеров-учащихся 6-й иркутской полной средней школы, в 1934 году, после лагерей, получили премию—экскурсию в Москву. Поехали все, за исключением Абы и Баира Шараншанэ, которые находились в это время на Байкале. Телеграмма запоздала, а когда они поплыли по Байкалу (знайте, озеро есть такое большое; у нас его даже морем называют), поднялась буря, и наши друзья вынуждены были пережидать. Буря бушевала долго, и когда они добрались до Иркутска, наш поезд был уже далеко. Баир и Аба написали главу „Догоняем по Байкалу“.

Эту книгу начали писать сразу по возвращении в Иркутск, но писали долго, так как хорошо запомнили советы Алексея Максимовича Горького. Нам хотелось написать так, „чтобы каждое слово пело и светилось“. Но слова часто оказывались настолько упрямыми, что никак петь не начинали. Работали над книгой попрежнему: наметили план, разбили на отдельные кусочки, и каждый взял одну какую-нибудь тему. Потом собирались вместе и коллективно обрабатывали написанное.

Некоторые участники нашей „Базы курносых“ уехали в другие города, но и они продолжали жить нашими интересами, они тоже писали главы для новой книги. Шура

Ростовщикова теперь живет в Москве. Она написала главы::: „Радостная весть“, „В мавзолее“, „Прощание с Горьким“,,, „Окончен путевой дневник“.

Тома Гуркина из Ленинграда прислала пакет, в котороми была глава:„ Музей, как музей—ничего трогать нельзя“. Доктор»» Джек—Женя Безуглова из Красноярска прислала главу „Ир--- кутск—Москва“.

Соня Животовская написала несколько глав: „Бедныеее тапочки“, „В мавзолее“, „Соня-засоня“.

Алла Каншина написала главы: „Беломраморная лесница“,,, „А мы вас прорабатывали“. „В президиуме съезда писателей“,,, „Большой день“, „В редакции „Пионерской правды“, „Друг—— самый большой“.

Ада Розенберг написала две главы: „Вечер, который неее забудется“, „Боря и Юра“.

Гриня Ляуфман—„Над землей и под землей в один день“...

Рафа Буйглишвилли— „Приехали в Москву“.

Аня Хороших—„Необыкновенный музей, все можно тро--- гать“, „Как потерялась Шура“.

Наш художник Ара Манжелес написала несколько глав::: „Из дневника“, „Зуб ноет“, „Милое Драгомилово“, „В гостяххх у Горького“, „Встреча с земляками—медвежатами“.

Наш вожатый Галя Кожевина написала главы: „В ком--- нате за президиумом“, „Парк его имени“, „В Горках у Горь--- кого“.

Содержание

С берегов Ольховки в Москву.

Радостная весть 3
Иркутск—Москва 5

Вот она какая Москва.

Из дневника Ары 13
Рафкины впечатления 16
Самая короткая глава 18
Зуб ноет 19
Видите вертится 20

Девятнадцатое августа.

Беломраморная лестница 24
А мы вас прорабатывали 27
В комнате за президиумом 28
Я приветствую 30
Мокрые майки 34
В гостях у Горького 36
Пушкинский бульвар 42
Соня-засоня 44
Ребята вернулись 46
Большой день 48

Ходим, смотрим, узнаем.

Милое Драгомилово 51
Над землей и под землей в один день 53

Необыкновенный музей, все можно руками трогать 56
Музей, как музей—ничего трогать нельзя . . 58
Встреча с земляками—медвежатами 61

Золотые нити дружбы.

В мавзолее у Ленина 66
Боря и Юра 69
В „Пионерской правде“ 71
Друг—самый большой 73
В Горках 74
Прощание с Горьким 85

Поезд мчится на Восток.

Как потерялась Шура 88
О Коле-краснофлотце и о комсомольцах, едущих строить новый город Комсомольск . . 91
Скоро дома 95

Глава последняя

Об авторах 96

Отв. редактор Ив. Молчанов. Техн. редактор М. Клинской
Корректор Т. Расина

Сдано в набор 22/X-1936 г. Подп. к печати 7/XII-1936 г. Огиз № 863. В. Сиб. Крайлит № 725. Бумага 72×105. Бум. листов $3^1/_8$. Тираж 15000. Индекс IX-Д-1 б. Уч. авт. листов 4,89. Заказ 2973. Цена 1 р. 35 к. Переплет 50 коп.

г. Иркутск, тип. Огиза треста „Полиграфкнига“.

1 р. 85 к.

Ч 1471